

## ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Статья В. Десницкого

1

В № 9—10 „Литературного Наследства“, посвященном XVIII веку в истории русской литературы, кроме краткого редакционного предисловия, правильно в общем ставящего задачи более усиленного внимания, с марксистскими методологическими установками, к литературе феодально-крепостнической эпохи, имеются две статьи общего характера о направлении и пределах изучения литературы XVIII в. Статьи эти — Г. Гуковского „За изучение восемнадцатого века“ и Д. Мирского „О некоторых вопросах изучения русской литературы XVIII века“ — на первый взгляд производят впечатление резко и принципиально противопоставленных друг другу. Но это только на первый взгляд. При более внимательном отношении читатель легко заметит, что эта противопоставленность — чисто словесная. Статья Г. Гуковского — я говорю о ее принципиальном установочном содержании, оставляя в стороне ее „обзорность“, — насыщенная конкретным материалом, и статья Д. Мирского, которая поражает до беспределности свободным отношением к конкретному материалу (и общен историческому, и литературному), обе развернуты вне какой-либо систематически сформулированной концепции русского исторического процесса, обуславливающей необходимость коренной перестройки работы литературоведов на данном участке. Общее для них и единство в конечных выводах — в обосновании усиленного внимания к литературе XVIII в. ее эстетической переоценкой. Эта неожиданная близость непримиримых противников с особенной четкостью выявилась на той дискуссии, которая имела место в Институте Русской Литературы Академии Наук, когда ни у Д. Мирского, ни у Г. Гуковского не оказалось в руках оружия для настоящей борьбы друг с другом; но эта близость чувствуется и в тех статьях, о которых нам придется говорить, поскольку дискуссия в ИРЛИ осталась недокументированной.

Аргументация Г. Гуковского „за изучение XVIII века“ идет от обличения „слепоты“ буржуазного индивидуализма к фактам, порожденным другой системой мысли, выросшей в условиях другой социальной обстановки“.

Критике второй половины XIX в., как заверяет Г. Гуковский, „ничего было делать с поэзией, законом которой была не буржуазный индивидуализм, а рационалистическая концепция прекрасного, понятого вне зависимости от места и времени“. „Люди, создававшие искусство в середине XVIII в., по своему социальному и мировоззрительному облику, — аргументирует он, — слишком отличались от тех, которые руководили литературной мыслью капиталистической России“. „Поэты русского классицизма, — заверяет Г. Гуковский, — писали о любви вообще, об отвлеченной морали, обосновывая свою художественную манеру не личным (будто бы внеобщественным) вкусом, а например законом жанра как одной из схем закономерно должного в искусстве“.

Всю „буржуазную слепоту“ к XVIII в. Г. Гуковский удобно для себя воплотил в трех именах — Пыпина, Булича и Незеленова. Игриво затушевывая ту социально-педагогическую классовую роль „рационалистической эстетики“ XVIII в., которая так усиленно насаждалась в школе весь XIX в. (оказывается, по Г. Гуковскому, „еще прежняя царская школа задушила возможность активного переживания литературы XVIII в.“), Г. Гуковский за этими именами забыл весьма осмысленное отношение революци-

онно-демократической мысли „средины XIX в.“ к литературе XVIII в. И совершенно напрасно. Правда, это осложнило бы его задачу и сделало не такой легкой победой над „слепотой литературного сознания эпохи буржуазного индивидуализма“. Но в то же время обращение хотя бы к Добролюбову избавило бы его от необходимости сражаться с „литературными крохоборами“. Правда, Добролюбов имел отчасти в виду как будто и литературоведов типа самого Г. Гукковского. Но это ему можно и простить за давностью лет. Вот что например писал Добролюбов в своей юношеской работе „Собеседник Любителей Российского Слова“: „Теперь дорожат каждым малейшим фактом биографии и библиографии. Где первоначально были помещены такие стихи, какие в них были опечатки, как они изменены при последних изданиях, кому принадлежит подпись А или Б или В в таком-то журнале или альманахе, в каком доме бывал известный писатель, с кем он встречался, какой табак курил, какие носил сапоги, какие книги переводил по заказу книгопродавцев, на котором году написал первое стихотворение — вот важнейшая задача современной критики, вот любимые предметы ее исследований, споров, соображений. Верх ее искусства, апогей ее благотворности — если она хочет и сумеет показать значение произведений того или другого писателя для его времени и потерю этого значения в наше время“. Эти библиографы для Добролюбова „жалкие рудокопы, копающие землю, чтобы отыскать в ее грудах зернышко золота“. „Они полезны, они необходимы, они даже достойны уважения“, но себе он просит у читателя позволения „более уважать архитектора, распоряжающегося стройкой, геолога, указывающего руду“ (Н. А. Добролюбов. Сочинения под ред. М. К. Лемке, СПб., 1911 г., т. I, стр. 115—116). В своих статьях, посвященных XVIII в., он резко противопоставляет себя ученым и доброго старого времени, и современным ему. Он вскрывает классовый характер буржуазной науки и пишет: „До недавнего времени наше внимание привлекалось только светлою стороною последней половины прошлого столетия. Созвание депутатов со всей России, наказ, учреждение о губерниях, громы Суворовских и Румянцевских побед, приобретение Крыма и Польши, развитие народного просвещения, процветание наук и художеств, оды Державина, поэмы Хераскова, комедии Фон-Визина и самой Екатерины — все это преисполняло благоговением даже самую нечувствительную душу“. Утверждая, что „Россия вступает в новый период существования“, он призывает к „беспристрастному и спокойному рассмотрению фактов того времени во всей их полноте“, приветствует опубликование „Записок“ Державина, извлечений из сочинений кн. Щербатова, допросов Пугачева и документов, относящихся к истории Пугачевского „бунта“, устанавливает связь по-новому оформляемого интереса к XVIII в. с тем обстоятельством, что „крестьянский вопрос принял уже такие обширные размеры“ („Русская сатира в век Екатерины“, соч., т. III, стр. 645).

Таким образом „слепота“ к XVIII в., по крайней мере у некоторых критиков середины XIX в., была совершенно иного свойства, чем та, которой так возмущен Г. Гукковский. И может быть он несколько поторопился с утверждением, что „слепота и узость взглядов той эпохи не могут быть уже законом нашего времени, и мироощущение буржуазного индивидуализма должно быть преодолено нами“.

Преодолевать и преодолеть „буржуазный индивидуализм“ вещь вообще полезная. Но надо хорошо договориться о том, что таксе буржуазный индивидуализм и во имя чего его нужно преодолевать.

На условиях преодоления „буржуазного индивидуализма“ Г. Гукковский обещает, что пред вами раскроется „весь сложный мир искусства XVIII в.“, „конечно, — оговаривается он, — отнюдь не на правах солидарности с нами, но на правах истории, чуждой нам, но значительной“.

Правда, Г. Гукковский говорит и о необходимости изучения „сложной борьбы внутри дворянства“, об исследовании „судьбы, расслоения и творчества зарождавшегося в конце века „третьего сословия“; „все это, — полагает он, — смогло бы насытить историю литературы XVIII в. содержанием“. Но эти задачи по существу являются для него второстепенными дополнениями, сделанными из своего рода приличия. Основное для него в другом: в воскрешении интереса к дворянскому XVIII в. как к эпохе, создавшей значимые

и для нас эстетические ценности. К их усвоению он и призывает широкого читателя. Он патетически восклицает: „довольно прятать (?—В. Д.) целую эпоху русской литературы“ и предлагает „в первую очередь дать возможность широкому читателю узнать Державина, узнать Сумарокова, Ломоносова, Хераскова, в с ю п л е я д у (разрядка моя.—В.Д.) сумароковской школы и последователей Державина“ и т. д. Только наконец „между тем,—вспоминает он,—мы должны показать XVIII век не только в его официально надежном благополучии, но и в его протесте, в его фронде, в его сатире и литературном бунте“.

Таким образом его интересует не столько переосмысление XVIII в., не столько изучение его в плане марксистского понимания историко-литературного процесса, сколько восстановление интереса и вкуса к искусству, в основе которого лежала „рационалистическая концепция прекрасного, понятого вне зависимости от времени и места“. Нельзя сказать, чтобы такое отношение к XVIII в. было абсолютно новым. Если действительно русская революционно-демократическая критика подходила к литературе XVIII в. прежде всего с точки зрения учета ее „отчужденности“ от интересов „народа“, то буржуазные критики начала XX в. пытались поднять на щит это искусство как искусство „прекрасного вне зависимости от места и времени“. Прежде всего это имело место конечно в отношении буржуазной эстетской критики к изобразительным искусствам („Старые Годы“ и т. п.), но и в области литературы мы знаем такие явления, как I том академического издания Карамзина, усилившийся эстетический интерес к поэзии Державина, появление таких пропагандистских сборников, как „Любвиная лирика XVIII века“, и т. п. Внимание к эстетической „вневременной“ значимости искусства XVIII в. не было чуждо и раннему русскому формализму, и не вина его представителей, если этот интерес их не дал до сих пор возможности „активного переживания литературы XVIII в.“, что она не вошла в размеры, желанных для Г. Гуковского, „в массовую библиотеку, на витрину книжного магазина, в школу“, что она не открыта для „широкого читателя“, в том числе и для „рабочего, которого интересуют судьбы нашей литературы“.

Что именно в этом плане движется пропагандистский пафос Г. Гуковского, об этом говорит и его богатый материалом „обзор“ изучения XVIII в. за последние годы. Здесь характерно отношение к „Русской литературе“ Сакулина. Гуковского не интересуют принципиальные установки Сакулина, исходя из которых он вводит материал в поле зрения науки, его понимание историко-литературного процесса как имманентного процесса развития „культуры“ вне классовой борьбы. Сакулинское понимание в конце концов не чуждо очевидно и самому Г. Гуковскому, поскольку он воздает хвалу Сакулину на языке самого Сакулина. Так например, положительно расценивая то, что Сакулин обратил внимание на „мещанскую“ литературу, на „низшие“ слои литературы, он говорит об этом следующим образом: „Сакулин обратил внимание на ту книгу, которую потреблял читатель, не овладевший дворянской культурой (разрядка моя.—В. Д.), —мещанин, дворовый, мелкий (а может быть и не только мелкий) купец, иной раз и малообразованный помещик-дворянин“. Не говоря уже о всей наивности предположения, что „мещанин, дворовый“ могли „овладеть дворянской культурой“, насквозь классовой, характерно здесь это представление об истории развития культуры и литературы, чисто сакулинское: господствующий класс (его интеллигенция) создает культуру, литературу, а все остальные более или менее успешно „усвают“ ее. Никакой классовой борьбы на участке культуры и не оказывается; оставалось бы только включить в число „усвоющих“ дворянскую культуру крепостное крестьянство.

Д. Мирский, в отличие от Г. Гуковского, в своей статье выступает не только как литературовед, но и как историк. В том и другом качестве он дает целый фейерверк утверждений, поражающих, осторожно выражаясь, своей смелостью, в которых совершенно тонут отдельные правильные положения.

Как „историк“ он утверждает: „в основном помещик и крестьянин стояли друг к другу в тех же отношениях в 30-х годах как и в 80-х годах“, что в XVIII в. Россия была „чисто крепостническая, без каких бы то ни было элементов буржуазного прогресса, Европа же была уже в живой и жизнеспособной своей части вполне буржуазной“, „Россия XVIII в., чужеродное тело, присосавшееся к буржуазной по своим движущим

силам Европе“; „борьба внутри дворянства (в XVIII в.) не отражала никаких классовых противоречий“; „русский феодализм XVIII в. был феодализм без традиции, без обычая, ориентированный (почему? — В. Д.) на хищническую экспансию, поэтому он был восприимчив на известные стороны буржуазной культуры, т. е. те, которые облегчали эту экспансию; поэтому же он был относительно свободен от поповщины“.

В XVIII в. „борьба шла даже не между экономически различными группами дворянства, как она шла например в эпоху крестьянской реформы. Это были чисто технические (?! — В. Д.) вопросы: как наиболее целесообразно организовать дворянское государство“.

Рядом с историческими „афоризмами“ идут откровения историко-литературного порядка: „Литература XVIII в. отделена от литературы XIX в. глубоким качественным изменением, сопровождавшимся фактически полным разрывом литературных традиций“.

Д. Мирский „знает“, что в „допетровской России не было художественной литературы как обособленной и устойчивой деятельности“; для него „очевидно“, что „не всякое общество, и в частности не всякое феодальное общество, в состоянии создать свою литературу“. Он знает также, что Киевской Русью „византийская художественная литература не была воспринята вовсе“, что „феодализм XVIII в. мог... обходиться безо всякой полемической, самооправдывающейся идеологии“.

Вопреки всякой очевидности Д. Мирский „знает“, что Новиков в своей позднейшей деятельности, приведшей его в Шлиссельбург, „является предшественником первых шагов демократической мысли“, что Радищев „ни словом не упоминал о Пугачевщине, как будто не в России развернулась эта грандиознейшая из крестьянских войн“.

В конечной оценке Д. Мирского дворянская литература XVIII в. „подражательна и бессодержательна, т. е. дает мало адекватное и скудное выражение идеологии и психологии своего класса“. А в результате Д. Мирский подает руку „уничтоженному“ Г. Гуковскому. И для него „русское искусство XVIII в... было основано на заданной, традиционной, условной форме, тесно связанной с условным же, ограниченным традицией содержанием“, а посему... „эта своеобразная атмосфера (русского „феодального варварства“ XVIII в. — В. Д.) в специфической области искусства... давала возможность развития весьма своеобразных явлений, сближающих вершины дворянской поэзии XVIII в. с прогрессивными эпохами человечества, с Ренессансом“. Таким образом под потоком отрицающих все и вся фраз — то же признание, что и у Г. Гуковского, „рационалистической концепции прекрасного, понятого вне зависимости от места и времени“, признание абсолютной „внеклассовой“ эстетической значимости искусства XVIII в.

Разными путями, но враги „буржуазного индивидуализма“, „враги“ между собой пришли к очень и очень сходному заключению: воскресить литературу XVIII в. (в разных дозах) во имя принципов „вневременной“ и „внеместной“ рационалистической концепции прекрасного. Мне нет никакой необходимости вскрывать корни этой „концепции“ в наши дни, возводить ее к первоисточникам, но достаточно констатировать факт, что и „друг“ и „враг“ литературы XVIII в. почтительно склонили свои выи пред Державиным. Отличие Д. Мирского от Г. Гуковского только в том, что суровый марксист Д. Мирский и здесь счел нужным поклясться на Марксе. По его авторитетному объяснению, „на Державине наше литературоведение может учиться тому, что Маркс признавал самой трудной задачей в отношении к классово чуждому искусству прошлого — объяснить, почему оно может „доставлять художественное наслаждение“, „несмотря на свою классовую враждебность и идейную примитивность“.

Я далеко не исчерпал всей глубины откровений Г. Гуковского и Д. Мирского. Особенно содержательна конечно статья Д. Мирского, представляющая какую-то своеобразную и пожалуй оригинальную в своей новизне веселую вариацию беззаботного „марксиста“, которому ясно решительно все. Да в этом и нет никакой надобности. Мне хотелось только показать, что ревизия „буржуазно-индивидуалистического“ отношения к литературе XVIII в. привела непримиримых, казалось бы, противников к одному и тому же выводу: наше отношение к ней должно строиться не на вскрытии ее классовой противоречивой сущности, а на основе „рационалистической концепции прекрасного“. Оба исследователя не хотят видеть „классовой борьбы“ на фронте литературы XVIII в.;

Жуковский готов видеть эту борьбу внутри дворянства, а Мирский даже и на это не согласен. Мирский „признает“, что „крестьянское восстание (Пугачева) поколебало самое основание крепостнического государства и“ — не удивляйся, читатель, это все тот же Мирский пишет — „имело реальные шансы на победу“, но... „культурная монополия безраздельно принадлежала крепостникам“, но... „единственный серьезный фронт классовой борьбы пролегал вне „культурного общества“, но... для нас Щербатов или Екатерина II так же безразличны, как У-Пей-Фу или Ень-Си-Шань“, а посему и нет надобности классовую борьбу „искать там, где ее нет“ (т. е. в литературе XVIII в.).

## II

По существу вопрос об отношении к литературе XVIII в., о задачах и принципах ее изучения может быть решен правильно только тогда, когда он будет правильно поставлен. Правильно же поставленный — это вопрос о литературе феодально-крепостнической России, литературе дореформенного периода. Выделение литературы XVIII в. может быть сделано только условно, по традиции, по тем граням различия, которые имеются и в пределах одного периода, выражающего в себе общие черты конкретного социально-экономического и культурного явления, но в процессе его диалектического развития. Резкой гранью между феодально-крепостнической и капиталистической буржуазной Россией является крестьянская реформа, если и не ликвидировавшая полностью феодальный строй — это могла сделать крестьянская революция, а фактически сделала только пролетарская, — то во всяком случае создавшая предпосылки более свободного и ускоренного развития капитализма, чем до юридической отмены крепостного права. Для последующего за реформой периода резко поставлена задача уничтожения всех пережитков крепостничества, всех пут, связывающих развитие капитализма, поставлен вопрос — в ленинской формулировке — двух путей пореформенного капиталистического развития. Этот вопрос становится стержневым в классовой борьбе после реформы — в том или ином отношении к нему происходит расстановка политических партий и группировок. Этот же вопрос, формы его решения — находит себе выражение и в научной, и в публицистической, и в художественной мысли эпохи.

Вопрос о связях с прошлым, о „наследстве“ ставится только в разрезе непосредственного разрешения очередных задач нынешнего и завтрашнего дня. Опора на прошлое — в культуре, искусстве — является естественной монополией представителей крепостнического мира, который, опираясь на длительные традиции своего „культурного“ господства, вместе с элементами „культуры“ протаскивает в новый мир и основы этой культуры — социально-экономические, политические права и преимущества вчера еще нераздельно господствовавшего сословия. Старая „культура“, воспринимаемая и изображаемая как всецело дворянством созданная, даже со всеми ее „освободительными“, „общечеловеческими“ мыслями и образами является острым оружием в руках защитников старого. Молодая революционно-демократическая Россия заявляет свои права на унаследование из прошлого только того, что может быть использовано в борьбе непосредственно, что наиболее действительно в борьбе нынешнего дня, что наносит прямые удары самому создателю этой классовой культуры — дворянству<sup>1</sup>. Литература прошлого как отражение и выражение вчерашнего дня крепостнической и самодержавной эксплуатации „народа“ воспринимается под знаком отрицания, при чем в пылу боевых настроений некоторыми представителями буржуазно-демократической мысли выбрасывается за борт — по крайней мере на нынешний день — даже и Пушкин (Писарев и его последователи, „отрицавшие“ Пушкина даже в годы оформления рабочего движения). В первую очередь под знаком „отрицания“ шла литература XVIII в., которую, осторожно присоединяя к ней и литературу начала века (Карамзин, Крылов — басни, Жуковский, Баратынский и Батюшков, Пушкин), царская школа упорно противопоставляла литературе новой буржуазно-демократической России. И либерально-буржуазная наука второй половины XIX в. ни в какой мере не забывала XVIII век, и Г. Жуковский говорит абсолютные пустяки, когда упрекает в „слепоте и узости мироощущения“ Пыпиных, для которых в XVIII в. якобы в их сознании „все слилось... в одну массу“. Нет, в своей расчистке прусского пути ка-

питалистического развития России они очень успешно и классово сознательно выполняли функцию препарирования дворянской классовой культуры под культуру „общечеловеческую“, „внеклассовую“, и вполне естественно, что они и в литературе XVIII в. осторожно выскивали „освободительные“ мотивы, заноса их на счет неизменно движущегося по пути „культуры“ дворянства; с другой стороны, они тщательно затирали всякую связь этих „освободительных“ идей с реальными классовыми противоречиями, настолько притом успешно, что даже такой острый марксист, как Д. Мирский, нашел возможным в XX в. повторить буржуазную легенду о демократизме „позднего“ Н. Новикова и по рецепту либерально-буржуазной науки не постеснялся оторвать Радищева от крестьянского движения XVIII в.

Носители идей прусского пути не слепы, а вполне классово сознательно „обходили молчанием“ многие „литературные факты эпохи классицизма“, представляя дело изучения их своему обозу-арьергарду, ученым типа Лонгинова, Грота, Сухомлинова, Сантова и иных. Курьезно, что именно к этой „плеяде в своем роде замечательных деятелей“ у Г. Гуковского сохранились добрые, теплые чувства. Правда, он этих „замечательных деятелей“, на правах непомнящего родства потомка, безжалостно кастрировал: они у него якобы „сознательно и решительно отказались от... активного воздействия на общественную жизнь передовых социальных групп средствами научного слова“, они просто „эрудиты и филологи, герои факта, даты, комментария“.

Борьба шла за завтрашний день, и именно с ним прежде всего устанавливалась связь только что осуществленной реформы. Передовой демократической интеллигенции 60-х и 70-х годов конечно ясна была связь реформы с прошлым, ей было ясно, что реформа не с неба свалилась, а была подготовлена предшествующим социально-экономическим развитием страны, что реформа явилась выражением и результатом борьбы противоречивых общественных сил. Но теоретический и исторический интерес к прошлому у народнической интеллигенции концентрировался на вопросе, минует или не минует русского крестьянина, полусвободного от крепости, историческая необходимость пройти через все ужасы капитализма западноевропейского типа, с обезземлением, пролетаризацией крестьянина, со всеми формами капиталистической эксплуатации фабрично-заводского рабочего. Ей мерещился иной тип развития, якобы заложенный и обоснованный в особых судьбах русского крестьянина, в отсутствии у нас предпосылок капиталистического развития западноевропейского типа, в возможностях широкого развития у нас „народного производства“.

Вполне естественно поэтому, что у идеологов революционного крестьянства не было никакого вкуса к установлению связей пореформенного капитализма с его зачаточными образованиями в первой половине XIX в. и ранее в XVIII в. Они, с их идеями утопического социализма, отрицали пореформенное капиталистическое развитие России. Поэтому и имел место такой исторический парадокс, что даже Чернышевский использует откровение прусского барона Гакстгаузена для защиты и обоснования своих пожеланий к будущему развитию России. Чернышевский превосходно знает, что „Гакстгаузен по своим политическим мнениям не только не республиканец или хотя бы либерал, но даже не просто консерватор, а такой реакционер, какие в Германии могут быть встречаемы только между помещиками некоторых прусских провинций“. Но Гакстгаузен „открыл“ в России крестьянскую общину, и Чернышевский использует его „открытие“, считая его показания особенно убедительными, так как „такой человек конечно не может быть заподозрен в особенном сочувствии к социализму или коммунизму“; аргументирует показаниями Гакстгаузена, несмотря на то, что цитируемый им популяризатор баронских откровений Тенгоборгский прямо утверждает, что община „одно из лучших предохранительных средств против вторжения пролетариата и коммунистических идей“<sup>2</sup>, а сам Гакстгаузен прямо ставит вопрос: „Как уничтожить или преобразовать крепостное право без социальной революции? В этом заключается великий вопрос дня“<sup>3</sup>.

Даже Чернышевский проглядел, что „статистика“ 40-х годов, в том числе и прежде всего баронская, была преимущественно выражением дворянской подготовки к неизбежной „реформе“, она классово сознательно подчеркивала преимущественно „сельский“

характер России, тем самым призывая к особенно бережному отношению к „самобытным“ особенностям русской экономики и культуры. В этом бережном отношении к русской якобы исконной „деревенской“ самобытности, идущем конечно из разных социальных побуждений, и лежит объяснение той „близости“ славянофилов и народников, которая так часто и многих соблазняла и пугала. Традиционное представление о русском дореформенном развитии сложилось в пору 40-х и 50-х годов, в предвестях реформы (в страхе перед несостоявшейся крестьянской революцией). Промышленно-капиталистическое развитие западноевропейского типа изображалось тогда не только нежелательным, „не соответствующим“ русскому национальному „духу“, но и не имеющим корней в прошлом историческом развитии. От Гакстгаузена („*Studien über die innern Zustände Russland*“, Berlin, 1852), от Тенгоборгского („*Etudes sur les forces productives de la Russie*“, Paris, 1852), от Корсака („О формах промышленности вообще и о значении домашнего производства“, Москва, 1861) идут поздние речи об искусственном и слабом развитии фабрик („насаждены“ правительством), об особом развитии в прошлом русского города (деревянный русский город не город в западноевропейском смысле слова), о не-капиталистическом характере русской кустарной промышленности („народное производство“) и т. д. Все это было направлено или непосредственно или в конечном счете к крепостническому кабальному решению крестьянского вопроса (вместе с тем и рабочего вопроса). Если Чернышевский не боялся подозрительного соседства, если он позволял себе пользоваться показаниями Гакстгаузена и Тенгоборгских, то это потому, что он верил в крестьянскую революцию и, не имея возможности прямо сказать это в 1857 г. (в том году им была написана статья о „*Studien*“ Гакстгаузена), он напоминал своим читателям, что „земледельческий класс... не всегда являлся в русской истории с тем неподвижным характером, каковой воображает видеть в нем Тенгоборгский“, что „козаки были большею частию из поселян, и что с начала XVII века почти все драматические эпизоды в истории русского народа были совершены энергиею земледельческого населения“<sup>4</sup>.

Эпигоны народничества, с которыми упорно боролся В. И. Ленин, таких „напоминаний“ уже не делали, а просто ссылались, когда требовалось, на предреформенную „статистику“ как на хранилище непререкаемых истин. И еще вопрос, насколько буржуазная историческая наука конца XIX и начала XX в. была вполне свободна от давления именно предреформенной „статистики“ в своих характеристиках русской экономической действительности дореформенной России.

Статистические работы конца XVIII и начала XIX в. были более свободны от давления на „статистику“ предреформенных настроений. И детальный анализ их в наши дни является насущной необходимостью для конкретизации показа тенденций развития дореформенной России. Между тем даже в 1921 г. И. Кулишер, сопоставляя суждения историков о промышленности XVIII в. (Туган-Барановского, Струве, Милукова, Лаппо-Данилевского, Фирсова, Рожкова, Покровского), говорит следующее: „Мы ограничиваемся... этими немногими сочинениями, посвященными истории промышленности или затрагивающими вопросы развития последней. Мы не упоминаем о старых работах Кириллова, Чулкова, Шторха, Семенова, Германа, ибо во всех этих сочинениях имеется в сущности лишь сырой материал, хотя несомненно весьма ценный, но не приведенный в стройную систему“<sup>5</sup>.

### III

Ряд блестящих работ Ленина посвящен анализу экономических отношений пореформенной России. И это вполне естественно, так как ему, представителю революционного рабочего класса, нужно было утверждать идеи марксизма на русской почве в атмосфере народнического отрицания самой возможности (и „желательности“) промышленного капитализма в России. Капитализм отрицался не в прошлом даже, а в современности, поэтому и естественно сосредоточение внимания Ленина на экономических отношениях пореформенной России. В. И. Ленин многократно подчеркивает, что он анализирует отношения только пореформенной России.

Но было бы ошибкой думать, что в его работах мы не найдем достаточных указаний на те или иные особенности и дореформенной экономики, которые — сведенные в систему и правильно поняты — могут нам дать принципы и направление наших работ по изучению и культурного развития России до 1861 г., с которого он отмечает резко выявленные тенденции двух путей капиталистического развития.

Уже в одной из ранних своих работ, посвященных разоблачению экономических „утопий“ эпигонов революционного народничества, В. И. Ленин писал о русском капитализме: „Начало товарного производства относится к дореформенной эпохе.. и даже капиталистическая организация хлопчатобумажной промышленности сложилась до освобождения крестьян. Реформа дала толчок окончательному развитию в этом смысле: она выдвинула на первое место не товарную форму продукта труда, а товарную форму рабочей силы; она санкционировала господство не товарного, а уже капиталистического производства“. „В пореформенной России крупнейшим фактом выступило внешнее, если можно так выразиться, проявление капитализма, т. е. проявление его „вершин“ (фабричного производства, жел. дорог, банков и т. п.), и для теоретической мысли тотчас же встал вопрос о капитализме в России. Народники старались доказать, что эти вершины случайны, не связаны со всем экономическим строем, беспочвенны и потому бессильны; при этом они оперировали с слишком узким понятием „капитализма“, забывая, что порабощение труда капиталом проходит очень длинные и различные стадии от торгового капитала до „английской формы“. Марксисты и должны доказать, что эти вершины — не более как последний шаг развития товарного хозяйства давно сложившегося в России повсюду во всех отраслях производства, порождающего подчинение капиталу труда“<sup>6</sup>. „Независимо от тех общественных отношений, которые выражались в крепостном праве, население было связано и тогда (до реформы. — В. Д.) обменом: „отделение обрабатывающей промышленности от земледелия, — справедливо говорит автор (П. Струве. — В. Д.), — т. е. общественное, национальное разделение труда, существовало и в дореформенную эпоху“<sup>7</sup>. И еще в той же работе: „Непонимание связи капитализма с „народным производством“ порождало у народников идеи о не-классовом характере крестьянской реформы, государственной власти, интеллигенции и т. д. Материалистический анализ, сводящий все эти явления к классовой борьбе, должен показать конкретно, что наш русский пореформенный, социальный прогресс был только следствием капиталистического „экономического прогресса“<sup>8</sup>.

В другой работе тех же 90-х годов В. И. Ленин говорил о крепостном праве, что оно „было сломлено только товарным хозяйством и капитализмом, сделавшим эту связь (связь крестьянина с землей, которую хотели сохранить народники. — В. Д.) невозможной“<sup>9</sup>.

Ряд общих принципиальных теоретических положений и конкретно-исторических указаний к анализу хозяйственного развития дореформенной России дает классическая работа В. И. Ленина „Развитие капитализма в России“ (ниже цитирую по собр. соч., изд. 2-е, т. III).

Прежде всего напомним такие методологические принципы исследования В. И. Ленина, которые иногда забываются и в наши дни. „У нас нередко, — пишет В. И. Ленин, — сущность вопроса о „судьбах капитализма в России“ изображается так, как будто бы главный вопрос: как быстро? (т. е. как быстро развивается капитализм?). На самом же деле несравненно более важное значение имеет вопрос: как и м е н н о? и вопрос: о т к у д а? (т. е. каков был докапиталистический хозяйственный строй в России?)“<sup>10</sup>. В. И. Ленин как бы заранее полемизирует с М. Н. Покровским, который, характеризуя социальные отношения России второй половины XVIII и начала XIX в., писал в „Русской истории“: „Какую роль вообще мог играть промышленный капитал: что значили сто, даже двести тысяч фабричных рядом с девятью миллионами душ крепостных крестьян, занятых почти исключительно земледельческим трудом“ (т. III, 7-е изд., стр. 235). Повторяем, как бы предвидя такие суждения, Ленин высмеивает их: „Смешно сводить вопрос о развитии крупной машинной индустрии к одной фабрично-заводской статистике. Это вопрос не только статистики, а вопрос о ф о р м а х и с т а д и я х (разрядка моя. — В. Д.), которые проходит развитие капитализма в промышленности данной страны“. И еще: „Сводить всю миссию капитализма к увеличению числа „фабрично-заводских“ рабочих, значит проявлять столь же глубокое понимание теории, какое проявил г. Михайловский,



удивлявшийся, почему это толкуют люди об обобществлении труда капиталом, когда все это обобществление сводится — де к тому, что несколько сот или тысяч рабочих пилат, рубят, режут, строгают и т. д. в одном помещении“<sup>11</sup>.

На ряду с положением В. И. Ленина, что „в вопросе о развитии капитализма едва ли не наибольшее значение имеет степень распространения наемного труда“ (453), для нас имеют особую ценность его общие суждения о мануфактуре и переходе ее в „фабрику“: „переход от мануфактуры к фабрике имеет особенно важное значение в вопросе о развитии капитализма“ (359). В. И. Ленин говорит, что по своему возникновению мануфактура непосредственно примыкает к... „первым стадиям капитализма в промышленности... Торговый капитал в мелких промыслах, достигая высшей ступени своего развития, сводит у нас производителя на положение наемного рабочего, сбрабатывающего чужое сырье на сдельную плату. Если дальнейшее развитие ведет к тому, что в производство вводится систематическое разделение труда, преобразующее технику мелкого производителя... если наряду с раздачей работы на дома и в неразрывной связи с ней появляются крупные мастерские с разделением труда, ... то мы имеем перед собою... процесс возникновения капиталистической мануфактуры... С фабрикой мануфактуру сближает образование крупного рынка, крупных заведений с наемными рабочими, крупного капитала, в подчинении у которого находятся массы неимущих рабочих“ (298 — 299).

В ряде мест „Развития капитализма в России“ В. И. Ленин дает и исторические справки к истории дореформенного хозяйственного строя России. Так он говорит например о наличии противоречий капиталистического порядка уже в дореформенной России: „...Вся пестрота форм зависимости прикрывает только ту основную черту мануфактуры, что здесь уже раскол между представителями труда и капитала проявляется во всей силе. Ко времени освобождения крестьян этот раскол в крупнейших центрах нашей мануфактуры был уже закреплен преемственностью нескольких поколений“ (338).

Не посвящая специального внимания вопросу о развитии капитализма в дореформенной России, он отмечает наличие в ней капиталистической мануфактуры. „Особенно замечательный пример капиталистической мануфактуры, — пишет он, — представляет знаменитый сапожный промысел села Кимры, Корчевского уезда, Тверской губ. и его окрестностей. Промысел этот исконный, существующий с XVI века. В пореформенную эпоху он продолжает расти и развиваться“ (318). Еще: „Самоварный и гармонный промыслы города Тулы и его окрестностей представляют чрезвычайно типические образчики капиталистической мануфактуры. Вообще „кустарные“ промыслы этого района отличаются большой древностью: начало их восходит к XV веку. Особенное развитие они получили с XVII века... В 1810/20 году возникли первые самоварные фабрики“ (329)<sup>12</sup>. Текстильную индустрию начала переформенной эпохи Ленин характеризует как „довольно высоко развитую в капиталистическом отношении (мануфактура, начинающая переходить в фабрику)“, как уже „вполне овладевшую рынком центральной России“ (471).

В. И. Ленин отмечает также важное значение „подготовки искусных рабочих мануфактурой. Крупная машинная индустрия не могла бы так быстро развиваться в пореформенный период, если бы позади ее не стояла продолжительная эпоха подготовки рабочих мануфактурой“ (333).

#### IV

Не искушенный в области социально-экономических отношений российской действительности—современной и прошлой—акад. В. М. Истрин в одной из своих давних работ обрвал любопытное наблюдение. В „Опыте методологического введения в изучение русской литературы XIX в.“ (СПб., 1907, вып. I) он писал: „Было бы очень благодарной задачей уловить то настроение, с которым жили десятки литераторов, независимо от того или другого историко-литературного направления, определить ту нравственную атмосферу, которая окружала их, или, применяя опять новый термин, выяснить ту психическую организацию, которая отличала бы людей последних десятилетий XVIII века и первого десятилетия XIX века. Это была какая-то особая сфера совершенно непонят-

ная нам теперь. С психологической стороны нам понятнее, т. е. доступнее для нашего восприятия, сфера даже XV—XVI веков, или эпохи Петра, потому что настроение этих эпох может быть охарактеризовано резкими чертами. Но эпоха последних десятилетий XVIII века и начала XIX века носит какой-то особый стиль" (71).

В этом недоумении почтенного академика перед психической организацией людей указанной эпохи несомненно нашло выражение сознание недостаточности исторических четких сведений и представлений о тех сдвигах в экономике и культуре страны, которые имели место во второй половине XVIII и в начале XIX в. и которые только со времени восстания декабристов и после него стали видимыми и для невооруженного глаза. Эти сдвиги—нарастание предпосылок развития капитализма в еще крепкой феодально-крепостнической России, усиление и рост капиталистических отношений в сельском хозяйстве и в промышленности, распространение наемного труда, все более обостряющееся восприятие крестьянами тяжести крепостного права, отмирание старой „патриархальности“, нарастание и обострение классовых противоречий в недрах феодальных сословий; все это на фоне того культурного „взаимодействия“ России и Западной Европы, которое так расширилось и социально заострилось в эпоху революции и наполеоновских войн, и создало, надо полагать, „какой-то особый стиль“, вызвавший недоумение В. М. Истрина.

Не претендую на какую-либо полноту и законченность, в развитие положений нашей вступительной статьи к сборнику „Ирои-комическая поэма“, мы позволим себе привести несколько цифр, фактов, а также наблюдений современников, характеризующих те сдвиги в экономике страны, которые в порядке прямого или косвенного отражения находили разумеется отклики и в литературе.

Прежде всего еще раз напомним, что число наемных рабочих на фабриках неизменно растет в XVIII и первой половине XIX в. Так для середины XVIII в. Лаппо-Данилевский, заявив, что „наряду с крепостными контингент вольнонаемных рабочих постепенно увеличился“, сообщает, что по данным 1760 г. на фабриках, состоявших в ведомстве мануфактур-коллегии, из общей цифры 38 000 рабочих около 14 000 было казенных и приписных по ревизиям, 11 500 собственных и купленных и около 12 500 вольнонаемных<sup>13</sup>. „Астраханские ткацкие мануфактуры,—сообщает о второй половине XVIII в. П. Любомиров<sup>14</sup>,—были построены главнейшим образом на эксплуатации вольного наемного труда“. „Вольным же трудом,—добавляет он,—жила главным образом и шелкоткацкая промышленность центра“. Любопытны его наблюдения над организацией производства на этих предприятиях: „Капитал, концентрируя производство шелковых тканей в мануфактурах, объединял при этом все стадии производства, в отдельных случаях и выработку шелка-сырца даже под руководством владельца мануфактуры и обычно в стенах мануфактуры, кроме размотки шелка, сдаваемой на дом, но по найму же мануфактуриста“.

С. Г. Томсинский, отрицая „капиталистические элементы в мануфактуре 30—40-х гг. XVIII в.“, не отрицает и для нее „наличности определенных кадров вольнонаемных рабочих“. Общие же его выводы об элементах капитализма в промышленности XVIII в. следующие: „Разложение крепостной мануфактуры начинается... во второй половине XVIII века. В социальной структуре мануфактуры были заложены элементы, ее разлагавшие. Значительные массы рабочих (6,5%), работавшие в других мануфактурах до поступления на основную работу, незначительный процент занимавшихся сельским хозяйством, продолжительный рабочий стаж, связь с городом, частые стачки и волнения—все эти факторы содействовали разложению крепостной мануфактуры и созданию новой капиталистической фабрики. Если же вспомнить, что в 30-х годах XVIII в. мы имели большие кадры рабочих со стажем в 20—30—40 лет, то станет ясно, что наш рабочий имеет очень глубокие корни в истории“<sup>15</sup>.

По подсчетам Туган-Барановского („Русская фабрика в прошлом и настоящем“, СПб., 1898), в 1804 г. на 2 423 фабриках из общего числа 95 202 рабочих вольнонаемных было 45 625 человек; в 1825 г. фабрик—5 261, рабочих—210 568, из них вольнонаемных—114 515. Туган-Барановский уверен, что число несвободных рабочих (сведений нет) продолжало падать и после 1825 г. Общее число рабочих на 1836 г.—324 203, из

них на бумаготкацких, бумагопрядильных и ситценабивных 105 878. Между тем на фабриках бумажных материй уже в 1804 г. было 82,8% вольнонаемных рабочих, а в 1825 г.—94,7%. Такой же высокий процент и тот же рост вольнонаемных рабочих был и на шелковых, кожаных, канатных фабриках. Рост вольнонаемных рабочих наблюдался даже на суконных и полотняных фабриках. Так на суконных и шерстяных вольнонаемных в 1804 г.—9,7%, в 1825 г.—18,4%; на полотняных в 1804 г.—60,4%, в 1825 г.—70%. О 40-х годах говорит Гакстгаузен: „В настоящее время на большинстве фабрик употребляются не собственные крепостные, но рабочие, добровольно нанимающиеся за определенную плату“ (1,190). Одновременно уменьшается и число дворянских фабрик. И если на первой промышленной выставке экспонаты знатных фабрикантов занимали еще значительное место, то к 1832 г., по подсчету Туган-Барановского, дворянские фабрики составляли всего около 15% (862 из 5 559), а в конце 40-х годов, по Гакстгаузену, всего 5% (500 из 10 000). „Число посессионных фабрик,—отмечает П. Кеппен,—постепенно уменьшается, что объясняется между прочим и введением машинного производства... При прекращении действий посессионных фабрик приписанные к ним крестьяне обращаются в свободное состояние. С 1840 г., сколько мне известно, упразднено более ста таких заведений, и с лишком 19 300 посессионных крестьян мужск. пола перешли в другие состояния (13 200—в состав городских сословий, остальные 6 080—в государственные крестьяне“)<sup>16</sup>.

Любопытные сведения о вовлечении в зависимость от капитала соседнего фабрике населения дают указатели дореформенных промышленных выставок. Правда, эти сведения случайны, разрознены (не о всех экспонатах даны подобного рода сведения), но они очень показательны. Приведем несколько примеров из „Указателя третьей в Москве выставки Российских мануфактурных изделий 1843 года“. Мы выбрали только несколько фабрик, притом таких, которые ведут свое начало с XVIII или начала XIX в.

№ 209 „Указателя“. Фабрика шелковых изделий Ефимовых в с. Фряново, Богородского у., Московской губ., учреждена с XVIII в.; рабочего народа на посессионном праве до 670 душ... вольнонаемных, смотря по надобности, до 500 человек.

№ 731. Фабрика бумажных изделий Трусова в с. Красном, Москов. губ., с конца XVIII в.; рабочего народа в Москве 300, в уездах 2000 и размотчиц бумаги 300.

№ 431. Бумажная фабрика Третьякова в Серпухове, с 1809 г.; рабочего народа в Серпухове 832, по домам 320 и в разных уездах 1400 человек.

№ 100. Фабрика Гарелиных в с. Иваново, Владим. губ., с 1792 г.; рабочего народа на фабрике и по уездам 5 296 человек.

№ 74. Полотняная фабрика Темерина в Переяславле-Залесском, с 1781 г.; рабочих на посессионном праве 664, вольнонаемных до 400 человек.

№ 418. Железодельный завод Пономарева в Слободском у., Вятской губ., с середины XVIII в.; рабочего народа крепостного 1 544, горнозаводского—55 и вольнонаемного до 3 400 душ“, и т. д.

Следует отметить, что официальная статистика плохо учитывала изменения в хозяйственной жизни страны и нередко давала ложные представления о тех или иных явлениях, вносящих новое в традиционные представления о хозяйственной и социальной структуре страны. Это особенно должно отметить об официальной статистике городского населения. Обычно исчислялось население городов—административных центров, между тем как города—промышленные центры, официально носившие название сел и слобод, как правило, не учитывались. Так П. Кеппен, определив для 1838 г. городское население в 9%, разъясняет, насколько условны показания „Статистических таблиц о состоянии городов Российской империи, составленных в Статистическом отделении Совета Мин. Вн. Дел (СПБ., 1840)“. Отметив, что „Таблицы“ показывают для Таврической, а также Астраханской губерний городское население в 20%, Кеппен продолжает: „Эти отношения (городского и сельского населения) ясно показывают, что по ним (по крайней мере у нас) нельзя делать заключение о степени развития материальной культуры; несомненно, такая промышленная (industriose) губерния, как Владимирская, в этом плане должна быть поставлена на одно из первых мест, между тем городское население в ней (в „Таблицах“) показано только в 5%, как и в Западной Сибири. Это

оказалось возможным потому, что промышленность не ограничена городами, но распространена по деревням во всем ройоне, плотность населения которого несравненно выше, чем в Таврической или Астраханской губерниях. И какой город... в отношении промышленной деятельности может померяться с Ивановым, селом графа Шереметева, которое одно на фабриках и вне их занимает свыше 42 000 человек". И далее Кеппен называет еще несколько сел подобного же типа: Яковлевскую слободу в 6 верстах от Ярославля, жители которой все рабочие (alle Fabrikanten); Холуйскую слободу, 900 чел. мужского населения которой, занимаясь иконописным делом как основной профессией, производят в год от 400 000 до 500 000 икон; село Павлово с его производством мыла, свечей, голиц и стальных изделий; село Богородское с кожевенной промышленностью (см. Koeppen: „Ueber Russlands Städte"—tiré du Bulletin scientifique publié par l'Acad. Imp. des Sciences de St.-Petersbourg, t. VIII, № 10—11).

В тех же „Указателях" выставок, о которых мы говорили выше, можно найти указания, опять же разрозненные и случайные, на применение в производстве машин. Приведем для иллюстрации показания на применение паровых машин „Указателя выставки мануфактурных изделий в Москве 1853 года". Указатель не дает даты постановки машин. Надо полагать, что в большинстве случаев это имело место в 30-х и 40-х годах; дату основания сравнительно молодых фабрик вероятно надо считать и датой начала применения на них силы пара.

№ 66. Бумагопрядильня А. Мальцова в с. Гусь, с 1844 г., три пар. машины в 110 сил.

№ 411. Бумагопрядильня Мазурина в с. Реутове, Моск. губ., с 1842 г., 2 паровые машины в 30 сил каждая.

№ 329. Бумагопрядильня А. Новикова в Москве, с 1847 г., паровая машина в 60 сил.

№ 300. Горенковская мануфактура Н. Волкова, с 1831 г., три отделения—бумагопрядильное, механическое для постройки новых и починки старых машин, механическо-ткацкое; три паровые машины в 74 силы.

№ 150. Суконная фабрика П. Цурикова в Звенигород. у., Моск. губ., с 1833 г. паровая машина в 16 сил.

№ 276. Фабрика бумажных изделий братьев Прохоровых в Москве, с 1804 г., паровая машина в 30 сил.

№ 277. Ткацкая фабрика Я. Гарелина, с 1752 г., паровая машина в 30 сил.

Паровые машины отмечены также на химических заводах, на свечном (в Одессе), на сахарных заводах и т. д.

В „Указателе СПбургской выставки русских мануфактурных произведений 1861 г." (года крестьянской реформы) я насчитал 138 предприятий, на которых указаны паровые машины, при чем эти предприятия охватывают различные отрасли промышленности. На первом месте идут разумеется бумагопрядильни, хлопчатобумажные, ткацкие фабрики и т. д. (39 предприятий), затем шерстопрядильные и суконные фабрики (24), сахарные заводы (16), чугуноплавильные и железоделательные (8), химические (7), машиностроительные, льнопрядильные, писчебумажные и фабрики шелковых изделий (по 5); встречаются также указания на паровые машины и в таких предприятиях, как фабрики серебряных, бронзовых и других металлических изделий, кожевенные заводы (4), лесопильные заведения (3), канатные, кирпичные, резиновых изделий, столярные, корковых пробок и т. д.

Большинство предприятий, отмеченных как применяющие силу пара, основано в 40-е и 50-е годы, частью в 30-е, но много и таких, которые основаны еще в XVIII в. Таковы например канатная фабрика Казалета в Петербурге („со времени основания Петербурга"), чугуноплавильные заводы Губиных в Пермской губ., чугуноплавильные и железоделательные заводы Шиповых в Нижегородской и Тамбовской губ., суконная фабрика Жукова в Москве, бумагопрядильные фабрики Гарелиных во Владимирской губ., набивно-ткацкая Розанова в Москве и т. д. Что паровая машина не была уже диковинкой на русских фабриках и в 30-х годах, об этом говорит такой документ, как „Прейскурант ценам, по которым как продаются разные машины и инструменты, так и принимаются на них заказы, в фабрике Польского банка в Варшаве на Сольце"

(Варшава, 1839 г.). „Прейскурант“ предлагает русским клиентам между прочими машинами и инструментами на первом месте паровые машины „с высоким давлением без уравнительного коромысла“ в 4, 6, 8, 10, 12 лошадиных сил, „с высоким давлением и уравнительным коромыслом“ в 15, 20, 30 лошадиных сил, „с низким давлением“ в 6, 8, 10, 12, 16, 20, 30, 40, 60, 100 лошадиных сил и выше (последнее по особому соглашению). Об этом же говорит и то, что в „Указателе... выданных в России привилегий с 1814 по 1871 год“ (СПБ., 1871) имеются указания на взятие привилегий и на паровые машины в первые десятилетия XIX в.<sup>17</sup>

Курьезно, что „преклонных муза лет“ гр. Хвостова восславил в торжественных стихах паровую машину на выставке 1833 г.; „все наше в выставке“, восклицает престарелый поэт, „машину зрю паров“ („По случаю второй выставки российских изделий в Санкт-Петербурге 1833 г.“, СПБ., 1833).

Восторженный панегирик паровой машине в прозе еще ранее Хвостова, в 1815 г., воспел известный защитник запретительной системы тарифа для произведений иностранной промышленности Н. С. Мордвинов. „Каждая паровая машина,—писал он,—здесь где-либо введенная, сотворяет вдруг 1000 человек в прибавку к существующим и таковых, притом работников, кои не требуют ни пищи, ни платы, ни отдохновения, кои не знают ни юности, ни старости, ни увечья и кои не умирают; для коих в сутки находится 24 рабочих часа, в году 365 рабочих дней; у коих сила всегда единообразна, всегда неизменна, всегда равнодейтельна. Посредством машин воздух, огонь и вода становятся сотрудниками человеку, исполинские силы к слабой руке его приобщают“ „Некоторые соображения по предмету мануфактуры в России и о тарифе“, СПБ., 1815, стр. 35).

Паровая машина была конечно только последним звеном в процессе перехода в дореформенную эпоху фабрик на машинное оборудование. И передовой отраслью промышленности в этом отношении была хлопчатобумажная. „Ни одна мануфактура,—говорит Е. Зябловский,—не сделала столь важных успехов в короткое время, как бумажные фабрики. Не более как за 50 лет перед сим (т. е. в 80-х годах XVIII в.—В. Д.) не умели иначе прядь хлопчатую бумагу, как ручною работою... Прядильная машина нового устройства англичанина Аркрайта ускорила прядение неимоверно... Успехи химии в последние годы имели решительное влияние на крашение... На некоторых фабриках производится уже печатание тканей цилиндрами“<sup>18</sup>.

Конечно большинство сведений, приведенных нами, характеризует нарастание предпосылок развития капитализма в позднюю сравнительно пору дореформенной эпохи, отнесится к XIX в. Но нам важно показать тенденции развития, единство процесса, начавшегося задолго до крестьянской реформы. Эти тенденции особенно ощутительны тогда, когда они выражены не мало говорящими цифрами, а подмечены в изменяющемся быту, подмечены на высоком уровне давно уже развивающегося явления.

Вот С. Глинка вспоминает Москву после 1812 г.: „Ступайте от Смоленского рынка на Девичье Поле: держитесь правой руки. Пройдя несколько деревянных домов, вы увидите за ними и рядом с ними к монастырю огромные каменные здания, заселенные фабричною промышленностью. А тут до 1812 г. были глухие пустыри. А это видимое на том же поле в левой стороне указывает на упадок быта вельможеского. Идя с Пречистенки и держась левой руки, вы увидите дома два каменные и почти опальные и пустые. Где же другие поддевические дома?... Они были, их нет. Следы их под грядями огородов или под безжизненной крапивой и лопушником. Они истлели на берегах тенистых прудов, в которые уныло смотрятся высокие деревья, расщепленные и разбитые неугомонною рукою времени“<sup>19</sup>. Эти же впечатления, только еще более обостренные через два десятка лет после Глинка испытывает и Пушкин, отметивший в „Мыслях на дороге“ упадок дворянской Москвы и рост купеческой, промышленной („Ныне в присмирившей Москве огромные боярские дома стоят печально между широким двором, заросшим травой, и садом одичалым... Но Москва, утратившая свой блеск Аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая в ней оживилась и развилась с необыкновенной силой. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством“).

Особенно показательны бытовые картины, нарисованные П. Сумароковым в его книге „Прогулка по 12 губерниям с историческими и статистическими замечаниями в 1838 году“ (СПБ., 1839). Показательны они потому, что, с одной стороны, говорят о промышленных—еще с XVIII в.—районах России и потому, с другой, что описывают такие явления, которые создаются не годами, а рядом десятилетий, т. е. восходят своими корнями к XVIII в. Нужно предупредить читателя, что П. Сумароков не может быть отнесен к числу безусловных и восторженных поклонников „фабричности“: он прекрасно понимает, чем грозит развитие промышленности существующему строю. Он пишет: „Фабрики в Европейских столицах вредны для общества... Сволочь та (рабочие) всегда готовы пристать к возмущениям, бунту, что мы видели в Париже. Напротив, учреждение фабрик в департаментах, или губерниях, отстранит то зло и послужит к процветанию их. Семейства близки... прокормление, содержание себя дешево. Сохранят прежний образ мыслей, не отделятся от сограждан своих“ (24—25). И он показывает нам, какая „культура“ рабочих ему приятна, с удовлетворением описывая виденных им рабочих в Туле: „Работники молодые, бреются, подбирают волосы в скобку, собираются в летние вечера на берег Упы и поют хором псалмы, кантаты Ломоносова, Польский, Александр и Елисавета“ (118—119).

Тем, повторяю, показательнее даваемые им картины быта промышленного населения, широты охвата промышленностью населения описываемых им районов. О Москве и ее окрестностях он пишет: „Вкруг Москвы, верст на 30 и далее по сторонам, в редком селении нет фабричных работ. Где красят, разматывают, прядут бумагу, шерсть, где делают галуны, бахромы, ленты, полосухи, тафты, везде станы, стук от берд, и если бы соединили все изделия, оказался бы большой город, как Манчестер, Бюрингам“ (97).

О промышленном населении Ярославской губ.: ярославцы „находятся при биржах артельщиками, в конторах банкиров, купцов прикащиками, имеют свои трактиры лавки, нанимаются сидельцами. Люди посредственных состояний разнощики, извозчики, каменщики, маляры, штукатуры, печники, плотники, столяры, каретники, в городах маркитанствуют, отправляют ремесла. Почти все такие мужчины умеют читать, писать, выкладывать на счетах... Женщины стройны телом, любят наряды, многие из их пригожи собою и тотчас различишь Ярославку от других. Они носят шелковые, ситцевые длинные платья, браслеты, заплетают волосы по моде... Кажутся деревни их местечками, крестьяне купцами и жены их провинциальными щеголихами. Они живут лучше дворян с 50 душами и несравненно просвещеннее французских поселян вообще“ (304—305).

О населении Костромского фабричного района: „Народ... крупный, чистый, мужчины ходят в сибирках, синих кафтанах, редко увидишь кого в лаптях. Женщины носят повойники Московки, сарафаны ситцевые, с рукавами тонкого коленкора, передники... Красота, свежесть лиц даны обитателям по Волге, и вы найдете здесь много красавиц. Избы по большей части в два жилья, с красными окнами, трубами, опрятны внутри и приятно войти в них.

...Наречие их по-книжному несколько смягчается, и они живут в довольстве. Какая противоположность с Тамбовским краем! Там крестьянин существует среди навоза, закоптел от дыма, мало просвещен, нелюдим, и богатый закромами нуждается в деньгах“ (275—276).

В. И. Ленин, говоря о ходячих сравнениях России с Западной Европой, о культурной отсталости России, спрашивает: „Но в чем же состоят материальные основания этой культуры, как не в развитии капиталистической техники, в росте товарного хозяйства и обмена, приводящих людей в более частые столкновения друг с другом, разрушающих средневековую обособленность отдельных местностей? Не была ли во Франции, напр., культура не выше нашей перед Великой революцией, когда еще не завершился раскол ее полусредневекового крестьянства на деревенскую буржуазию и пролетариат? И если бы автор („Хроники внутренней жизни“ в „Р. Богатстве“) повнимательнее присмотрелся к русской жизни, он не мог бы не заметить того, напр., факта, что в местностях с развитым капитализмом потребности крестьянского населения стоят значительно выше, чем в чисто земледельческих местностях. Это отмечается

«единогласно всеми исследователями наших кустарных промыслов во всех случаях, когда эти промыслы достигают такого развития, что кладут промысловый отпечаток на всю жизнь населения». И в пример В. И. Ленин приводит павловских кустарей (В. И. Ленин, «Что такое „друзья народа“, собр. соч., т. I, стр. 152—153).

## V

Д. Мирский решительно заявляет, что XVIII в. не „знал никаких классовых противоречий“ внутри дворянства, что не было классовой борьбы и „между дворянством и третьим сословием, как полагается в сословной монархии“, он знает для XVIII в. классовую борьбу только „на полях битв пугачевцев с царскими войсками“. В полном противоречии с собственными утверждениями он однако предлагает изучать не только литературу крестьянскую, но и литературу „плебейскую“, литературу „предков рабочих“, предлагает выяснить „роль предпролетариата“ в составе „городского плебейства“, предлагает изучать „подлинное творчество городских равночинцев“ и т. д., и т. п. С его „исторических“ позиций эти задачи повисают в воздухе как явно навязанные гой действительности XVIII в., которую нарисовал себе Д. Мирский („в основном помещик и крестьянин стояли друг к другу в тех же отношениях в 30-х годах, как и в 80-х“, „в XVIII в. Россия была чисто крепостническая, без каких бы то ни было элементов буржуазного прогресса“ и т. д.). Самую крестьянскую борьбу XVIII в., восстание Пугачева, он рисует только как „страшный кошмар (для крепостника) между двумя долгими периодами относительного классового благополучия“, утверждает, что у крестьян-пугачевцев не было союзников, что у них не было своего „Мюнцера“, и т. п.

Наша задача в том и заключается, чтобы призвать к конкретности анализа социально-экономических отношений дореформенной эпохи, в частности XVIII в., нащупать отношение „третьего сословия“ и намечающихся в нем классовых групп к господствующему сословию, а также к закрепощенному крестьянству, отношение к борьбе дворянства и крестьянства, вскрыть тенденции исторического развития, наметить возможные линии классовых противоречий и столкновений. Только в этих условиях, полагаем мы, и возможна настоящая марксистская постановка задач и определение объекта изучения литературы дореформенной эпохи и прежде всего XVIII в., на который до сих пор не было направлено внимание литературоведов-марксистов.

В. И. Ленин так характеризовал дореформенное общество в его классовых взаимоотношениях и настроениях: „Крепостное право стесняло одинаково всех—и крепостного бурмистра, накопившего деньжонки и желавшего пожить в свое удовольствие, и хозяйственного мужика, ненавидевшего барина за поборы, вмешательство и отрывание от хозяйства, и пролетария—дворового, и обедневшего мужика, которого продавали в кабалу купцу; от него страдали и купец-фабрикант, и рабочий, и кустарь, и мастерок. Между всеми этими людьми только та связь и была, что все они были враждебны крепостничеству: за пределами этой солидарности начинался самый резкий хозяйственный антагонизм“ („Что такое „друзья народа“, 190).

Разумеется эта характеристика прежде всего и полностью относится к десятилетиям кануна реформы; но конечное оформление этих классовых отношений и настроений могло иметь место только в результате длительного исторического процесса, и забывать об этом никогда не следует, спускаясь даже и в дебри таинственного XVIII в.

При наших обобщающих суждениях о литературе XVIII в. мы сплошь и рядом забываем о целом ряде деталей и „мелочей“, которые между тем необходимы для правильного понимания эпохи. Так например, дворянское религиозное „свободомыслие“ XVIII в. принято относить за счет „моды“, поверхностного увлечения „передовыми идеями“ Запада и т. п., вообще не имеющим под собой социальной почвы, или, как это делает Д. Мирский, даже объяснять „наивностью“ дворянства. „Победоносный дома и за границей феодализм XVIII в.,—утверждает он,—мог позволить себе большую наивность, предаваться квази-материалистическим настроениям, и игнорировать ш о п о щ и н у (курсив мой.—В. Д.), заигрывать с Вольтером“ и т. д.

Между тем эта „наивность“ имела под собой весьма реальную почву. Недаром Екатерина II в Большую комиссию 1767 г. пригласила депутатов от „всех“, кроме

крепостных крестьян и духовенства. Здесь конечно говорили и современность, и воспоминания о недавней социально-экономической мощи первого сословия феодального общества, которую дворянское государство еще продолжало доламывать в XVIII в. Но с князьями церкви дворянское государство так или иначе договорилось, отдав им на поток и разграбление белое духовенство, особенно сельское. Но совсем другое дело вот это городское и особенно сельское духовенство, традиции выборности которого еще не были изжиты в XVIII в.

В своей утопии „Путешествие в землю Офирскую г-на С...Швецкого дворянина“ князь Щербатов мечтает о священниках-полицейских, верных стражах идеального дворянского государства („одежда его—священника была так как на офицерах полиции“, „Полиция.. есть для сохранения нравов“, а посему „главные надзиратели частей... определяются быть священниками единого Бога“ и т. д. Соч., т. II, стр. 891). Но современным ему русским духовенством Щербатов весьма недоволен: „Наши попы и церковники, имеющие малое просвещение без нравов, суть наивреднейшие люди в государстве: разбои, бунты, корчемства и прочее суть их обыкновенные преступления“ (Соч., т. I, СПб., 1896, стр. 618). Его раздражение, недовольство сельским духовенством идет так далеко, что в „Проекте о народном изучении“ он предлагает упразднить как можно больше приходов, при сохраненных церквях сократить число духовных лиц (вместо двух священников оставить одного, а „дьяконов и везде в селах не иметь“) и т. д. Все эти меры он рекомендует проводить „тихостью“, „тайно“, чтобы „совсем о сем поселяны известий не имели“ (I, 739). Он боится, что „духовные чины“—, более дворян связаны с нижними чинами людей, кои могут ввергнуть в бесновение“ (II, III). И он имел основание бояться поповского „бесновения“. Приходское духовенство, зависимое от помещиков и угнетенное своей духовною властью, а сельское и по роду занятий (хлебопашество) близкое крестьянству нередко было близко к нему и по своим настроениям.

Участие сельского духовенства в крестьянских восстаниях XVIII в. и первой половины XIX в.—нередкое явление, которое отмечалось и современниками, и правительственными распоряжениями. Так например, указ от 14 ноября 1762 г. об укрощении заводских крестьян в восточном крае России вину возникновения бунта возлагает на духовенство, от которого исходили ложные разглашения и копии с фальшивых манифестов; один дьячек Казанской губ. на допросе в казанской консистории сам повинился в составлении подложного манифеста о крестьянской свободе. Духовные лица нередко писали крестьянам жалобы на помещиков, давали им даже фальшивые паспорта для проезда в Петербург с этими жалобами; бывали случаи, что священники покрывали убийство крестьянами своих жестоких помещиков, хороня их как умерших естественною смертью. Указ Синода 1781 г. строжайше запрещает всем священно- и церковно-служителям писать и подписывать крестьянские жалобы на помещиков.

В городах, в особенности в Москве, беспокойным элементом было безместное духовенство, которое толпилось по площадям, у церквей, по кабакам, постоянно входя в непосредственное общение с крестьянами и городской беднотой. В пору восстания Пугачева „праздные попы и дьяки“ толпами бродили по Москве. Эти церковники-бродяги беспокоили и правительство, и духовное начальство. Против безместного духовенства принимались меры полицейского порядка. Бантыш-Каменский в своей „Жизни пресвященного Амвросия“ (М., 1813) с раздражением рассказывает, как во время моровой язвы один поп с помощью фабричного выдумал чудо для смущения народа, как „мерзкие козлы, оставив свои приходы, стояли у Варварских Ворот с наложения, делая торжище, а не моление, городские домовые и уездные попы толпами бродили“.

Необходимо указать на участие духовенства в Пугачевском восстании. „Пугачев,—пишет П. Знаменский,—хорошо понимал важное значение духовенства в народе и для привлечения его на свою сторону сосредоточил на нем все свое внимание и вместе с тем всю жестокость мер, какие обыкновенно употреблял против непокорных“. Таких „непокорных“ лиц духовного звания по подсчету Знаменского погибло (казнено) во время Пугачевского восстания 237 человек. „Цифра громадная и притом едва ли еще полная“, но, продолжает он, „еще выше была цифра духовных лиц, увлек-



шихся общим народным движением своего края". Синод издал объявление, что каждый служитель алтаря лишается священства и передается гражданскому суду „в самый тот час“, как пристанет к бунтовщикам. И вот, как сообщает П. Знаменский, „виновных оказалось так много, что например в Пензе гр. Панин—усмиритель Пугачевщины—застал все церкви запертыми, потому что в городе не оказалось ни одного священника, не подпавшего под строгие запрещения Синода“. Граф Панин писал Екатерине: „Если бы духовный чин, хотя мало инаков был, злодеяния не возросли бы до такой степени“.

Дворянское государство, сумевшее договориться с князьями церкви, все время пытаясь превратить сельских попов в полицейских и жандармов духовного чина, в сущности до падения крепостного права далеко не полностью разрешило эту задачу. Даже и после реформы сельское духовенство, особенно центральной России, не обеспеченное материально правительством и в своем существовании целиком зависевшее от „щедрот“ прихожан—крестьян, было питательной средой, поставлявшей широкие кадры „разночинной“ демократической интеллигенции.

Тургеневское же барственное отношение к „клоповоняющим“ (Чернышевскому, Добролюбову и др.) остается характерным для дворянства XIX в., каковым оно было для Щербатовых, Болотовых и иных в XVIII в. И при всех рассуждениях о „наивности“ дворянского вольнодумства и „вольтерьянства“ XVIII в. об этом никогда забывать не следует.

Известный масон-крепостник Поздеев, в вологодском имении которого тогда имели место крестьянские волнения, писал масону Лопухину: „в крестьянах видим явно готовящийся бунт, весьма похожий на пугачевский, ибо все крестьяне имеют оставшегося от времен Пугачева духа, дабы не было дворян“. В возникновении бунта он винит духовенство: „Здесь в Вологде, в новый год (1797) в соборе и вне оного великое было, какого никогда не запомнят, стечение простого народа и попов, кои, т. е. деревенские, те же мужики, только что грамотные (разрядка моя.—В.Д.), в ожидании, что читать будут указ о вольности крестьян и якобы соль будет дешевле и вино продаваться по 2 рубля ведро,—приехали слушать из селений, верст за 100 от Вологды отстоящих“.

Вопрос о том, какое выражение в литературе XVIII в. (устной и письменной) нашла эта связь духовенства и крестьянства, совсем не изучен; даже произведения духовной лиры—дьяков, семинаристов (не официальная печатная литература „речей“, „од“ и „дриветствий“ на разных языках, а рукописная)—совсем не обследована. Считаю поэтому не лишним привести одно такое произведение дьяка, найденное в архиве 1757 года:

Хто в NN не бував,  
 Той и лыха не знавав;  
 Я в NN проживав  
 И много бед приняв.  
 Дякував и паламарював  
 И попа до церкви рано пробуждав;  
 И М... панщину работав.  
 Ище ж до того и людям угоджав,  
 Бо чуть свит свитае,  
 То асаул Кирнос до школы прихожая и глашая:  
 Дяче! на панщину! косить,  
 Лбо будешь брусья носитьь.  
 Ище крипче гонить  
 На лен панский  
 Иван Пивторацкий.  
 Люди говорят:  
 Горе тоби, горе, дяче!

Згнешь ты в нас,  
 Небораче!  
 Зде, читатель, мени извини  
 И назад листок переверни...

А там им же написано:

Хто хоче лыхо знаты,  
 Не хай иде в NN дякуваты;  
 То буде панщыну в будни робыты,  
 А в субботу ходит звыты,  
 Сала по селу про хаты  
 И скрозь за хлибом шмаруваты,  
 В церкви давно горшка не маем,  
 И покрышку для вогня позычаем...  
 Сие вам изображаю,  
 И сам з NN утикаю<sup>21</sup>.

## VI

Неконкретность, чрезмерная суммарность наших представлений о XVIII в. может быть отмечена не только в полном забвении судеб социально-экономического положения духовенства, его культурного значения в XVIII в. Эта суммарность, например в суждениях Д. Мирского, может быть отмечена и по ряду других вопросов. А между тем только в условиях учета всех сложных и противоречивых социальных отношений XVIII в. мы можем правильно понять и движение литературы той эпохи. И это тем более, что процесс оформления идеологии каждого класса, подавленного и эксплуатируемого, совершается очень медленно и на первых своих стадиях дает зачаточные и неразвернутые формы. Это относится ко всякой идеологии, относится и к литературе, высокие создания которой предполагают своим условием общий широкий подъем культуры данного класса. Но и эти зачаточные формы, являющиеся нередко отражением (в ленинском понимании слова) изменений, происходящих в действительности (Белинский с его письмом Гоголю и крестьянское движение—у Ленина), для нас представляют большую ценность. Но притом не только в общем историческом плане, но и в плане историко-литературном как явления, намечающие тенденции дальнейшего движения, как связи между сегодня и завтра. Иначе нам нередко придется слышать речи о „полном разрыве литературной традиции“, как это сделал Д. Мирский по отношению к XVIII и XIX вв.

Примеров „неконкретности“ исторической, о которой мы говорили выше, в статье Д. Мирского можно указать немало. Так для наивящего меня посрамления он оперирует приводимыми мною фактами, в частности моим указанием на то, что в Комиссии 1767 г. купцы заявляли претензии на владение крепостными крестьянами. И делает отсюда о б о б щ а ю щ и й вывод к „характеристике русской буржуазии“. Между тем один факт, взятый сам по себе, еще ничего не говорит или говорит очень мало. О праве владения крепостными в Комиссии, несмотря на свое недопущение в нее, заявляло и духовенство (в городских наказах), желая иметь крепостных для домашних услуг. Но не нужно забывать при этом, что, когда купцы и церковники просили себе крепостных, они не столько и не только говорили о создании нового права, сколько о сохранении бытовой социально-экономической „старины“. Правда, для крестьян это было безразлично—крепость ли по старине или вновь созданная свяжет их, но для бытовой характеристики „купечества“ это известное значение имеет.

Еще вторая ревизия не приурочивает владение крепостными исключительно к одному сословию. Инструкция 1743 г. позволяет писать крепостных за солдатами и приказными, лишь бы они платили за них подушную подать. Закон 1746 г. отдает приемышей в крепостную зависимость от их воспитателей: попов, церковников, купцов и разночинцев. При самом производстве ревизии оказалось, что многие купцы и раз-

ночинцы владели крепостными. Так в Ельце купеческая вдова дала отпускную 20 крепостным, у 44 нижегородских посадских оказалось 127 крепостных дворовых людей и т. д. Только с межевой инструкции 1754 г. владение крепостными окончательно приурочено к дворянству, но и после этого были бытовые поправки к юридическому положению вещей<sup>23</sup>.

Не в достаточной мере конкретны—а максимальная конкретность особенно важна для лигатуроведа—наши представления даже и о Пугачевском восстании: упрощается, схематизируется та социальная атмосфера, в которой оно протекало. Мы уже указывали на связь крепостничества и белого духовенства. Для других групп „третьего сословия“ мы не можем указать таких широких связей. Но и рисовать восстание как прошедшее в обстановке полного безразличия к двум борющимся классам нет решительно никакой надобности. И—что для лигатуроведа особенно важно—воспоминания о „кошмаре“, в течение века не терявшие своей свежести, у разных общественных групп могли быть далеко не одинаковыми.

Повторяем, Пугачевское движение в известной мере раскалывало не одно только духовенство. Для казанского дворянства например—и русского и татарского—Екатерина была действительно своей царицей. Казанские дворяне боролись с „врагом отечества“ и, в ответ на объявление Екатерины себя казанской помещицей (в рескрипте на имя А. И. Бибикова), в речи, произнесенной в Казанском дворянском собрании 1 февраля 1774 г., могли искренне провозгласить: „Дражайшее нам и потомкам нашим неоцененное слово, сей приятный и позднейшего рода Казанского дворянства фимиам, сей глас радости... Признаем Тебя своей помещицей! Принимаем Тебя в свое сотоварищество: где угодно Тебе, равняем Тебя с собой“... Татарская же буржуазия Казани, в отличие от татарского дворянства, с радостью приняла Пугачева. К Пугачеву и к пугачевцам с трепетом и надеждой тянулись помыслы многих представителей других групп „третьего сословия“. Для характеристики этих настроений приведем любопытное описание одного иностранца своих московских впечатлений в дни Пугачевского восстания. Этот иностранец—Ф. А. Т. де Белькур, капитан французских войск, поступивший на службу к польским конфедератам в 1769 г. Он был взят русскими в плен и отправлен в Тобольск. Возвращаясь оттуда в 1773/74 г., попал в Москву 19 февраля 1774 г.—в дни восстания Пугачева. Свои воспоминания о России описал в книге: „Relation ou journal d'un Français au service de la Confédération de Pologne, pris par les Russes et relégué en Sibirie. Amsterdam, 1776“.

Вот как он описывает московские настроения этих дней: „В то время (конец февраля и начало марта 1774 г.) дух смуты распространился и в Москве. Стали громко говорить в пользу мнимого Петра III. Весь город был в волнении. Во всех съезжих домах постоянно секали, но и это строгое наказание никого не устрашало. Во всех концах города громко кричали: „Да здравствует Петр III и Пугачев“. Казалось, грозило общее восстание. У графа Толстого люди натворили столько излишеств, что он был вынужден отдать их в руки полиции. Они были приговорены к битию кнутом, но и под ударами кричали ура Петру III. Чтобы успокоить умы и затушить огонь, грозивший всеобщим пожаром, распустили слух, что Пугачев совершенно разбит. На почте вскрыли все письма и перехватили те, которые казались подозрительными; каждого домохозяина заставляли снова принести присягу и, несмотря на то, 6 марта, около шести часов вечера, раздался во всех частях города всеобщий крик: „Да здравствует Петр III и Пугачев“. Можно себе вообразить, какое смущение он произвел. Все бросились бежать, куда попало. Но твердость князя Волконского успокоила умы, и этот великий пожар потух без всяких дурных последствий“ (цит. по „Очеркам“ Л. Майкова, стр. 353—354). Но еще в сентябре 1774 г. были произведены в Москве аресты за распространение „Пугачевских листов“.

Бедны конкретным содержанием и наши представления о позднейшем крестьянском движении в XVIII в. Разумеется все последующие крестьянские волнения и по размаху, и по содержанию не могут идти в сравнение с тем величайшим потрясением дворянского государства, которое было вызвано Пугачевским движением. Но крестьян-

ские волнения имели место, и они создавали определенную атмосферу беспокойства и для дворянства, находили тот или иной отклик и в других слоях общества. Крестьянские волнения XVIII в. и после подавления Пугачевского восстания принимали иногда широкие размеры.

Так в январе 1797 г. Тайной экспедицией были получены от местных властей донесения о крестьянских восстаниях в целом ряде губерний: Орловской, Московской, Псковской, Новгородской, Новгород-Северской, Ярославской, Нижегородской, Пензенской, Калужской, Костромской, Вологодской. Какой характер принимали эти восстания, для усмирения которых приходилось посылать воинские команды, мы имеем показания современников. Один из очевидцев рассказывает например о восстании крестьян в Орловской губернии, в Брасове, главном селе имения С. С. Апраксина, куда он попал после усмирения крестьян в Вологодской губернии. „Скопилось до 12 000 крестьян своих и пришлых: бросили господские работы... провозгласили себя государевыми; убили управителя, а присланного на следствие советника губернского правления держали в кандалах под караулом; проведая о войске, что шло к ним, устроили батарею на погосте против главной улицы селения, отыскиали на господском дворе порох и полдюжины пушек и открыли огонь, как только войско показалось“<sup>23</sup>.

Социальный характер конечно носил и разбой, во второй половине XVIII в. принявший характер бытового явления. Август Коцебу на своем пути в Сибирь и обратно видевший непрерывный поток ссылаемых людей всякого чина—и пеших, и конных (царствование Павла),—отметил любопытные явления: „Между Казанью и Нижним-Новгородом,—вспоминает он,—видел я так часто по обе стороны дороги около огня расположившиеся толпы вооруженных людей, что наконец любопытствовал узнать, зачем они тут. Объяснение было не очень утешно. Эти люди были тут на карауле по поводу многих случившихся здесь разбоев“<sup>24</sup>.

Иногда „разбойники“ в своей деятельности руководились весьма определенными социальными симпатиями и антипатиями. Так например, А. Болотов рассказывает об одном „разбойнике“, оперировавшем притом под самой Москвой. „Кажется года за три,—пишет он,—был за Москвой вор-разбойник, прославившийся весьма особливими своими делами. Он, имея превеликую партию, разбивал многие дворянские дома и ограблявал, а в иных накачивал только господ и госпож за жестокость к людям и делал многие пакости“<sup>25</sup>.

Нет сомнения, что именно крестьянские настроения находили свое выражение и в ряде „ненормальных“ явлений в жизни войск, которые должны были охранять устои дворянской общественности. Весьма любопытный факт сообщает официальный орган польского революционного правительства, который оно издавало в 1794 г. на французском языке для информирования преимущественно „иностранной публики“ о ходе борьбы польской нации за свободу. Бюллетень охватывает события с 27 мая по 22 октября 1794 г. Приводимое нами сообщение дано в последнем (21-м) номере „Бюллетеня“, говорящем о событиях, которые имели место уже после поражения Косцюшки при Мацевицах и взятия его в плен русскими войсками.

„22 мая текущего года,—читаем мы в „Бюллетене“,—нам представилось зрелище, весьма отрадное для людей, которые умеют ценить свободу. 250 русских пленных, тронутые великодушным гуманным обращением с ними поляков, убежденные добрыми целями нашего дела, исполненные ужаса перед несчастной страной, в которой они рождены, поклялись разделить с нами сладости свободы; предпочитая рисковать своей жизнью в надежде на лучший жребий, чем жить в постоянном отчаянии, они включились в войска Республики и принесли клятву верности. Им дали заверения, что по окончании войны они получат участки земли в наследственное владение и будут допущены ко всем правам Граждан. Они потребовали и получили право не сражаться с русскими; эта деликатная чувствительность по отношению к своему прежнему отечеству сделала их в наших глазах еще более заслуживающими уважения. Им обещали использовать их только против пруссаков; обещано также, что те из них, которые дадут доказательства своей сообразительности и отваги, будут произведены в офицеры, как

один из соотечественников, который, особенно отличившийся в последнем деле под Сочаевом, был произведен в прапорщики и получил денежную награду в 50 дукатов“<sup>26</sup>.

И впечатления от известий о Французской революции падали в России далеко не на такую безразличную почву, как это можно было думать сообразно обычным представлениям о полном дворянском благополучии. Вот что сообщает в своих мемуарах граф Сегюр о петербургских настроениях после получения известий о взятии в Париже Бастилии: „Новость быстро распространилась и была принята различно, смотря по положению и настроению каждого. При дворе она вызвала сильное волнение и общее неудовольствие. В городе было впечатление совершенно обратное, и хотя Бастилия не грозила никому из жителей Петербурга, я не могу передать энтузиазма, вызванного среди негоциантов, купцов, мещан и нескольких молодых людей из более высокого класса падением этой государственной тюрьмы, этим перлым триумфом бурной свободы. Французы, русские, датчане, немцы, англичане, голландцы — все, посреди улицы, поздравляли друг друга, обнимались, точно их избавили от тяжелой цепи, сковывавшей их самих. Это увлечение, которому я сам едва верю теперь, продолжалось очень недолго. Страх скоро погасил первую вспышку. Петербург не был ареной, на которой можно было безопасно обнаруживать подобные чувства“.

Совершенно иные чувства вызвали события Французской революции у представителей правящего дворянского сословия. Вот что например писал в секретном письме 2 декабря 1792 г. своему брату Александру русский посол в Лондоне Семен Воронцов: „Я вам говорил: это борьба не на живот, а на смерть между имущими классами и теми, кто ничего не имеет. И так как первых гораздо меньше, то в конце концов они должны быть побеждены. Зараза будет повсеместной. Наша отдаленность нас предохранит на некоторое время: мы будем последние, но и мы будем жертвами этой эпидемии. Вы и я ее не увидим, но мой сын увидит. Я решил научить его какому-нибудь ремеслу, слесарному, что ли, или столярному: когда его вассалы ему скажут, что он им больше не нужен и что они хотят поделить между собой его земли,—пусть он по крайней мере будет в состоянии заработать хлеб собственным трудом и иметь честь сделаться членом будущего муниципалитета в Пензе или Дмитрове. Эти ремесла ему больше пригодятся, чем греческий, латинский и математика“.

Характерно письмо другого представителя дворянства, генерал-поручика П. С. Потемкина, отправленное им из Бреста 22 сентября 1794 г. И. И. Шувалову. Потемкин, очевидец революционных событий в Польше, пишет своему знатному адресату, в свое время имевшему личные отношения с французскими „философами“: „Муж благости и друг Муз!.. Вы провели многие годы в столице просвещения—в Париже, знаменитом науками и искусствами, а паче того знаменитом ныне варварством. Вы, будучи знакомы всем философам нашего века, Вольтеру, Руссо, Рейналю, Даламберту и грубому Дидероту, почерпнув не из сочинений их, но в беседах, где образ мыслей можно видеть живее, где одно иногда слово означает часто человека и часто открывает самые сокровенные изгибы сердца, вразумите меня, как могли они, столь знаменитые разумом люди, возбуждая народ к своеволию, не предвидеть пагубных последствий оногo; как могли они не предузнать, что человек может быть премудр, но люди бывают буйны.

...Последователи их учения, обаятели слепых умов народа мнимую вольностью, умножаются. Дантон, Робеспьер, орудия и жертва зверских намерений, от своих казнены, но зло и яд зла существуют“. Вспоминая очевидно о своей стране, он всего более „удивляется“ тому, что „мятеж Варшавский так скоро разлил тонкий яд по всей земле, а еще удивительнее, что все шляхетство слепо этому предано, не чувствуя в энтузиазме своем того, что наивящая народная Рада Варшавская, во всем подражая Парижскому конвентному собранию, употребляя ныне руки ослепленных шляхтичей, кончит тем, что они-то и останутся жертвами новой системы“. „Энтузиазм в дворянах,—возмущается он,—слепо действует“<sup>27</sup>.

Разумеется такие оформленные мысли и чувства были свойственны далеко не широким слоям населения Москвы и Петербурга, тем более провинциальных городов. Но были в городе люди, которые радовались Французской революции, были люди, которые—купцы например—платили по 25 рублей за возможность прочитать „Путешествие“

Радищева, были люди из городской буржуазии, которые плакали, узнав об его аресте, были несомненно люди в городах, которые со вниманием и сочувствием прислушивались и приглядывались к тому, что происходит в деревнях, где сидели барин и мужик.

У нас нет, вопреки утверждениям Д. Мирского, никаких оснований и желания утверждать революционность русской дореформенной буржуазии, сравнивать и сближать в какой бы то ни было мере русское „третье сословие“ с французским tiers état. Я неоднократно в своих работах указывал на то, что русская дореформенная буржуазия в своей верхушке великолепно уживалась с дворянством и царским правительством и „мужественно“ мирилась с муками крепостного крестьянства. Но мы утверждаем, что тенденции капиталистического развития в XVIII в. и начале XIX в. были более значительными и более действенными, чем это обычно изображается. В быту, в художественной литературе эти тенденции буржуазного порядка, на фоне никогда не затихавшего крестьянского „беспокойства“, несомненно должны были находить свое выражение. И „Путешествие“ Радищева было только наиболее ярким, наиболее развернутым и смелым выражением крестьянских чувств и настроений, но в то же время оно было в известной мере и отражением настроений значительных „третьесословных“ слоев городского населения. В „Почте Духов“ Крылова (1789 г.) имеется такой разговор: „Как, — спросил, я, — кто ж у вас читает Платоновы сочинения о должности, Наставления политикам, О состоянии землевладельцев и о Звании вельмож? — Купцы и мещане, — отвечал автор; а вельможи читают веселые сказки, детские выдумки и шутильвые басенки“.

Для литературоведа-марксиста не может быть безразличен тот факт, что издания XVIII в. относимые обычно к „низовой“, „мещанской“ литературе — романы, сатирические журналы, комедии буржуазной направленности, песенники и т. д., — зачитаны до ненаходимости, между тем как многие произведения „высокой“ дворянской литературы, имевшие в отличие от произведений „низовой“ литературы одно-два издания, дошли до нашего времени в большом количестве. Эта „мещанская“ литература — печатная и рукописная, так слабо изученная, связанная и со старой русской письменностью, и с фольклором, оказывала влияние и на „высокую“ литературу. И, влияя, создавала в ней новые качества, намечая новые пути литературного развития, расходящиеся с основным потоком дворянской литературы.

„Биографические“ справки разумеется включают например В. Майкова в тесный круг отношений дворянской литературы, хотя он и связан в известной мере и с ярославским „купечеством“, и с „промышленными“ тенденциями века. Но „биографическая справка“ не решает вопроса о характере и социальной действительности ряда его произведений. М. Дмитриев вспоминал в свое время, что „Майков никогда не считался на ряду с лучшими поэтами; он имел особый, не высший круг читателей“. И недаром Л. Майков, издатель и комментатор в XIX в. сочинений В. Майкова, описав отношение В. Майкова к „источникам чисто народным“, продолжает: „...факт замечательный в русской литературе по своей исключительности, эти отношения объясняют нам, почему Майков не поддавался вполне ложно-классическому влиянию: писатель, знакомый с жизненными произведениями народного юмора и наблюдательности, не мог замкнуться в тесную рамку образов и форм, узаконенных условною теорией; его талант искал проявления свободного и сообразного с духом окружающей его народной жизни“. Примеры стремлений к „народности“ Л. Майков видит на страницах „Елисея“, в „некоторых баснях“, в них В. Майков изображает „жизнь... с меткостью и правдой, не затуманенной никакими предрассудками“. С „русскими новеллами XVII—XVIII столетия...“, с этой своеобразной ветвью нашей литературы, соприкасаются поэма „Елисей“, басни и сказки Майкова“.

Для иллюстрации того, насколько „своеобразно“ звучат например некоторые басни В. Майкова, приведем басню Майкова и басню Сумарокова на одну и ту же тему. Басня В. Майкова „Господин с слугами в опасности жизни“:

Корабль, свирепыми носим волнами в море,  
Лишася всех снастей, уж мнит погибнуть вскоре.

В нем едет господин, при коем много слуг.

А этот господин имел великий дух,

Спросил бумаги в горе

И, взяв ее, слугам отпускную писал,

А написав ее, сказал:

„Рабы мои, прощайте,

Беды не ощущайте,

Оплакивайте вы лишь только смерть мою,

• А вам я всем отпускную даю“.

Один из них сказал боярину в ответ:

„Велик нам дар такой, да время грозно;

Пожаловал ты нам свободу, только поздно,

С которой в скорости мы все оставим свет“.

В награде таковой не много барыша,

Когда она дается

В то время, как душа

Уж с телом расстается.

(В. И. Майков, Соч. и переводы, ред.

П. А. Ефремова, СПб., 1867, стр. 203)..

Сумароковская басня на ту же тему: „Отпускная“.

Корабль от бури в море тонет;

Народ на судне стонет:

Слуге хозяин тут отпускную дает;

Но в ней уж пользы нет;

И без отпускной лъзя идти на оный свет.

Нет места благости фортуны, нет и злобе;

Когда моя нога уже во гробе.

(Сумароков, Соч., ч. VII.)

Эти явления имели место и в XIX в.; в плане усвоения или в плане оттапливания от них развивалась и русская литература первой половины XIX в., а не только в плане связей или разрыва с основным дворянским потоком литературы XVIII в.

Мы должны конкретизировать наши представления о дореформенной эпохе; мы должны помнить, что многое забыто, многое не отмечено, не сопоставлено с движением „высокой“ литературы, останавливавшейся на себе исключительное внимание науки прошлого. Многое уничтожено „традицией“, которая во многих случаях однозначна с мерами полицейского воздействия на искусство. Так например, мы совсем не имеем тех „сатирических картин“ конца XVIII в., о которых рассказывает А. Болотов в „Памятнике протекших времян“. А между тем эти „картины“ восполняют наше представление о наличии „буржуазных“ чувств и их выражении в искусстве XVIII в. А. Болотов рассказывает:

„Никогда не было в народе и в Москве столько едких сатир и пасквилей, как ныне. Вошел и у нас манер осмеивать и ругать знатных картинками. Они были рисованные и с девизами карикатуры, но так, что по сходству лиц, стана, фигуры и платья можно тотчас распознавать, о ком шло дело. Все и многие знатнейшие фамилии были перебраны и начато с главнокомандующего Москвы, г. Измайлова. Он изображен был в своем точном виде, как по утрам сидит в шафроке; в руки дана ему азбука с указкою, указывающею на литеру „глаголь“; генерал Михаил Львович Измайлов стоит с хлыстом и учит будто его грамоте; секретарь предлагает ему бумаги для подписывания, а другой рукой зажимает ему глаза; женщина с мешком денег тут же изображена, подающая оные и старающаяся подкупить.

Другая карикатура изображала генерала князя Юрия Володимировича Долгорукова, во всех его орденах и нарядах, покрытого смурым кафтаном, сидящего на бочке вина

и окруженного подлым народом, которому будто кричит: „Сюда, сюда, ребята! Вино дешевое, хорошее. Авось не узнают, что я генерал“. Друг и сообщник его, князь Сергей Сергиевич Гагарин, выгребает у него из-под ног деньги. Оба они наказаны по достоинству.

Третья карикатура изображала графа Орлова (Чесменского), гонящего своих лошадей и занимающегося сим делом, с подписью: „Гоняю лошадей, могу гонять и людей“.

Сим и подобным тому образом изображаемы были многие и другие из знатных, отличавшихся какою-нибудь особенностью; и более сорока фамилий сим образом разруганы. О всех сих карикатурах говорили, что они якобы были присланы из Петербурга и продавались в нюрнбергской лавке; и всех их с строгостью отыскивали и отбирали“ (91—92).

Нужно проследить, как отзвуки живой действительности или восприятие далекого прошлого находят себе последовательное выражение в литературе, выражение осмысленное в плане движения, проследить, как почти деловая регистрация явления развертывается — на высотах классового сознания — в содержательное, идеологически художественное произведение. Такие сдвиги в художественной литературе как отражение и выражение изменений реальной действительности проходят в язык художественной литературы, в тематику, в жанровые образования, при чем каждый сдвиг идеологизирован в линии развития той или иной линии классовой направленности. Разрыв и полная противопоставленность литературы XVIII в. с ее „рационалистической концепцией прекрасного“ и литературы XIX в. — „буржуазно-индивидуалистической“ — только тогда может быть декретирован, когда и та и другая берутся в их стилистических (и тем самым идеологических) завершениях, а не в длительном процессе противоречивого развития. Внимательный же анализ процесса дает не разрыв, а накопление нового качества.

Возьмем для иллюстрации тему Пугачева из крестьянского бунта, занявшую такое видное место в творчестве Пушкина. Обычное представление — эта тема снята для литературы после разгрома восстания; дворянство победившее не любило вспоминать о днях ужаса, о страшном „кошмаре“. Но этот „кошмар“ — непримиримость классовых противоречий — остался. И он находит свое выражение в движении к пушкинской постановке проблемы.

Свидетель и современник „кошмара“, князь Щербатов, в год Французской революции (1789) не может забыть пережитых ужасов, не может простить „власти“ ее „беспечности“ и классовой „мягкости“: „Охуюлю я беспечность правления во время бунта Пугачева, отчего более тысячи дворянских фамилий и множество народа истреблено было, и многие области разорение претерпели. Охуюлю я самую его казнь, яко весьма облегченную по соразмерности его преступления“ (II, 255—256).

Вот в „Московском Курьере“ 1806 г. Д. Зиновьев в очерке „Михельсон в“ бывшее в Казани возмущение “ восклицает: „Сограждане! Тридцать лет прошло после истребления Самозванца; но грозного феномена черты, преисполненные беззакония и адской злобы, вечно будут презрением и отвращением потомства, и в самом не проницаемом мраке времен не перестанет поражать гром проклятий“ (III, 242—243). С возмущением рассказывает автор об „изменнике“-подпоручике Минееве, перешедшем на сторону Пугачева, о рабочих казенных Ижевского и Воткинского винокуренных заводов („работников большая часть по своему произволению записались злодею в службу“). Здесь же, в романе „Модест и Муза“, рассказывается чувствительная история дворянской девочки Музы, которую дворовые спасли от Пугачева, переодев ее крестьянкой; живет она у крестьян, но в конце концов тайна раскрывается, и она возвращается в свое сословие.

Детские впечатления арзамасца Д. Н. Блудова пропитаны жуткими воспоминаниями прошлого и предчувствиями новых ужасов: „в то время (конец XVIII в., в Казанской губернии) еще свежи были следы Пугачевщины и волжских разбойников, которые, как бы по завещанию Пугачева, наследовали его занятие и эту местность... Две небольшие пушечки, служившие при обороне деревни и барского двора, существуют только где-то в отвале, заброшенные, а еще во время детства Дмитрия Николаевича они играли важную роль“<sup>28</sup>.



Но не везде старинные пушки лежали „в отвале“. Вот например какую картину рисует ученый путешественник, казанский профессор, искавший за Камой „дельтические древности“. За Камой, около Лаишева, на винокуренном и поташном заводе подполковника Кандалицова, в доме его управляющего, „весьма приятного и образованного человека“, заснул он „с Сенекою в руках“. „Поутру, — повествует он, — обозревая из окна моей спальни окрестности, я заметил на дворе перед воротами небольшую снаряженную пушку, направленную против входа в завод (курсив мой.— В. Д.); вправо маленькое озеро, образованное источником, на коем плавали величественные лебеди; покатость горы усажена была кустарниками в английском вкусе; словом, я нашел все, что в уединении могло бы расположить человека к истинному душевному удовольствию“<sup>29</sup>.

Кое-кто видел еще „живых“ пугачевцев. Так Ф. Булгарин видел их в Кронштадте „на каторжном дворе“, видел он здесь и „человека замечательного, племянника казака Шелудякова“, „бывшего секретаря пугачевской канцелярии“; в 1809 г. ему было около 60 лет, он „был удален от всякого сообщества с каторжными“, „не пил водки, не шурля и не нюхал табак“, „толковал“ Булгарину Ветхий завет. Что и как ему „толковал“ Шелудяков, какой разговор он вел о пугачевском бунте с вкравшимся к нему в доверие Булгарияным, мы не знаем, об этом мудрый Булгарин не сообщает. Но вот его конечное впечатление: „Я видел еще в натуре настоящих разбойников и Пугачевских сподвижников!!! И вспомнить страшно! Что за фигуры, что за хватки, что за язык!“<sup>30</sup>

Но видим мы оттенки „воспоминаний о Пугачеве“ и иного порядка. Вот на старости лет „Бобровский гражданин Севостьянов“, из купцов, родившийся около 1780 г., защищает тезис „сердцу человеческому свойственна любовь“ и аргументирует воспоминаниями юности: „Возьмем в пример мятежного Пугачева. Ожесточенный против всего человечества, заглушивший все почти нежные чувствования к ближним и потушивший кровью нежных жертв, принесенных своему бесчеловечию, весь пламень любви к родным, он не совсем был бесчувствен к любви и дружеству в минуты пробуждения в нем человеческой природы“<sup>31</sup>.

Н. Страхов, в XVIII в. издатель сатирических журналов, в 1810 г., в очерке „с природы“ „Благодарность“, разрабатывает пушкинскую тему „заячьего тулупчика“. Содержание очерка следующее: помещик Петр Яковлевич К. приехал в свои пензенские деревни во время восстания Пугачева. Собственные крестьяне К. „остригли его в кружок, надели крестьянскую рубашу и платье, потом велел священнику приобщить его святых таинств посадили в телегу и везли верст около ста“, везли „к батюшке“ (Пугачеву). Спас помещика начальник одного из отрядов Пугачева, крестьянин соседнего имения, которого П. Я. К. часто избавлял „от побоев и сечения“ его сурового господина. Съездив к более высокому начальству, вероятно к самому Пугачеву, начальник отряда отпустил помещика со словами: „... Твоя жизнь дарована мне. Вот тебе краюха хлеба и жестяной билет, с которым тебя никто наши тронуть не смеет. Ступай! Держись правой стороны, где находится с войсками ваш граф Панин“<sup>32</sup>.

Здесь, как видим, гораздо раньше Пушкина сделана попытка „снятия“ противоречия между баринином и крестьянином, снятия возможного повторения „бунта“ призывом к гуманности, к „добрым“ отношениям между господином и крепостным, указанием на общую всем врожденную доброту человеческой „природы“.

Любопытна попытка романтического „осмысления“ Пугачева, сделанная неизвестным казанским поэтом в „повести“ „Мятежник Пугачев“. В журнале помещен только „отрывок из повести“. Отец Пугачева, по отрывку, — герой, погибший „на поле чести“, сам Пугачев — храбрый воин, в битве с турками он „первый по геройству был“, но „честолюбием сгорал“. Повесть — в стихах. Вот как описывает Пугачева автор:

Его природа полюбила  
И при рождении наградила —  
Прекрасным мужеским лицом,  
Высоким станом, гибким, стройным

И взором огненным, проворным

И пронидательным умом.

.....

Рожденный с пламенной душой,

Себя желаньем славы мучил, и т. д.<sup>33</sup>

Не знаем, как развернул бы судьбу своего героя автор; но и по отрывку видно, как далеки черты этого романтического персонажа от „феномена, преисполненного беззакония и адской злобы“ „Московского Курьера“ 1806 г.

## VII

Классовая противопоставленность и классовая направленность литературных явлений XVIII в. будет для нас ощутительнее и яснее, когда мы в сю литературу XVIII в. подвергнем изучению как выражение действительности противоречивой и сложной, как выражение общества не застывшего, а находящегося в движении, в развитии. Если крестьянство не победило в XVIII в., если буржуазные тенденции в XVIII в. не нашли и не могли найти революционного выражения, то это еще не означает, что дворянство в области художественного творчества жило на каком-то острове идеального благополучия и спокойствия, которое давало ему возможность абсолютной „эстетизации искусства“, свободного от необходимости быть искусством классово направленным. Можно конечно написать и такую фразу, что феодализм XVIII в. мог „обходиться безо всякой полемической, самооправдывающейся идеологии“, как это сделал Д. Мирский. Но чтобы согласиться с этим, нужно забыть русскую историографию XVIII в., подготовившую Карамзина, забыть образы „честных“ и „добрых“, дворян в литературе XVIII в., противопоставляемых дворянам „злонравным“, нужно забыть литературно „просвещенного монарха“ XVIII в., вкупе с мудрыми советниками и помощниками устроителя „блага народное“, нужно забыть таких литературных деятелей, как Щербатов, Болотов и т. д. Олимпийского спокойствия не знала дворянская литература XVIII в. Разумеется классовая тревога не принимала в литературе XVIII в. таких размеров, как в XIX в., накануне реформы, но и замалчивать ее, чтобы затем установить к ней отношение как к искусству исходившему только из „отвлеченных рационалистических концепций прекрасного“, мы не можем. „Поэты русского классицизма, — заверяет Г. Гуковский, — писали о любви вообще, об отвлеченной морали“, обосновывали свою „художественную манеру.. например законом жанра как одной из схем закономерно должного в искусстве“, следовали „императиву рациональной закономерности“. Но ведь и Г. Гуковский не должен бы забывать того, что эти „закономерность должного“ и „рациональная закономерность“ понятия идеалистической, формалистической эстетики. „Буржуазному индивидуализму, — говорит он, — нечего было делать с поэзией, законом которой была... рационалистическая концепция прекрасного“. Это не совсем то, что было в исторической действительности.

И „буржуазный индивидуализм“ знал, что делать с „вневременной“ концепцией прекрасного, а революционно демократическая мысль XIX в. боролась с ней как с теорией и практикой классово направленного искусства. Нашему времени Г. Гуковский предлагает преодолеть „слепоту и уозсть“ буржуазного индивидуализма. Но марксистский путь преодоления этой „слепоты“ — совсем не тот путь эстетического вкусового чувствования в искусство XVIII в., который предлагает Г. Гуковский, а совсем другой. Ведь не так далеко еще то время, когда преодолевший „слепоту“ буржуазного индивидуализма русский формализм под знаком этой слепоты „преодолевал“ не только буржуазную „уозсть“, но и марксистскую материалистическую „ограниченность“.

В том-то и заключается шаткость и слабость принципиальных позиций и Г. Гуковского, и Д. Мирского, что свою борьбу „за“ и „против“ литературы XVIII в. они ведут в конце концов с идеалистических позиций.

Правда, они благосклонно разрешают изучать и литературу „низов“, но их чисто эстетский вкусовой подход к литературе XVIII в. этим разрешением несколько не сни-

мается. Нет никакого сомнения, что „рационалистическая концепция прекрасного“ и до сих пор еще, в значительной мере, определяет направление историко-литературных изысканий и симпатий Г. Гуковского.

Задачи марксистского литературоведения, задачи усвоения наследия прошлого гораздо сложнее, чем это думает Г. Гуковский. Переосмысление должно идти в плане детального изучения прошлого. Разумеется в результате этого переосмысления марксистская наука и из литературы XVIII в., как и из всей русской и мировой литературы прошлого, отберет и наследует наиболее исторически значимое, наиболее художественно ценное. Но отбор будет дан не с позиций вневременной рационалистической концепции прекрасного; сама эта „рационалистическая концепция“, меняющая свои очертания в разных исторических классовых отношениях, должна явиться также объектом исторического изучения — в ее обусловленности, в классовой направленности, в социальной действительности для эпохи строительства социалистической культуры.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Вот что мы читаем в „Современнике“ по поводу выхода первого тома сочинений Державина под ред. Я. Грота:

„Люди могут дорожить только тем наследством, которое важно для их собственного успеха и благополучия.

... Когда общество забывает „наследие“ прошедшего, это значит только, что наследие его далеко не удовлетворяет, и винить его за это невозможно: чем же виновато общество в этом забвении, если прошедшее ничего ему не представляет кроме отживших традиций, кроме неутешительных фактов невежества и грубости. Собственные его стремления не находят в прошедшем никакой поддержки и общество по необходимости обращается в другую сторону“.

„Современник“ 1864 г., № 1, „Новые книги“, стр. 107.

<sup>2</sup> Чернышевский, Н. Г. Соч., т. III, стр. 276 и далее.

<sup>3</sup> Nathausen, Studien, т. I, стр. 118.

<sup>4</sup> Чернышевский, Н. Г. Соч., т. III, стр. 279.

<sup>5</sup> Кулишер, И., Вопросы истории русской промышленности и промышленного труда (в дореформенное время), постановка их в нашей исторической литературе.— „Архив истории труда в России“, ч. 1-я, Петроград, 1921 г., стр. 29. Разрядка в цитате моя.— В. Д.

<sup>6</sup> Цитирую по собр. соч., т. I, стр. 353.

<sup>7</sup> Там же, стр. 323.

<sup>8</sup> Там же, стр. 311.

<sup>9</sup> Там же, стр. 147. Там же, говоря о „создании национальных связей“ в России, „примерно с XVII века“, В. И. Ленин говорит, что „создание этих национальных связей“ („концентрирование небольших местных рынков в один всероссийский рынок“) „было ничем иным, как созданием связей буржуазных“, стр. 73.

<sup>10</sup> „Развитие капитализма в России“, собр. соч., т. III, стр. 295.

<sup>11</sup> Там же, стр. 354.

<sup>12</sup> „Многие тульские оружейники имеют собственные разного рода фабрики и некоторые из них даже довольно значительные; так например, у Петра и Сергея Гайдаровых есть для переплавки чугуна и для отливания из него разных вещей завод, действующий паровой машиною“. (Курсив мой.— В. Д.) I. Гамель. Описание Тульского оружейного завода. Москва, 1826 г., 86 стр. „К 1826 году, — сообщает Гамель, — собственные „фабрики“ были уже у 49 тульских оружейников“. См. прибавление к „Описанию“, стр. 67 — 69, где дан поименный список этих „фабрикантов“ с указанием спецификации фабрик.

<sup>13</sup> „Русские промышленные и торговые компании в первой половине XVIII столетия“. СПб., 1899, 64 стр. и след.

<sup>14</sup> Любомиров, П., Ткацкая промышленность Астрахани в XVIII и первой половине XIX в. Астрахань, 1926 г. (отгиск из журнала „Наш Край“ 1926 г., № 2).

<sup>15</sup> Томсинский, С. Г., Крепостной или вольнонаемный рабочий. См. издание Ак. Наук. „Крепостная мануфактура в России, ч. IV: Социальный состав рабочих первой половины XVIII века“, Л., 1934 г., стр. XXXIX — XLII.

<sup>16</sup> Келпцен, П., Девятая ревизия. Исследование о числе жителей в России в 1851 году. СПб., 1857 г., стр. 293.

<sup>17</sup> Механик Ползунов построил на калыванских заводах паровую машину в 1766 г. („первая паровая машина для действия заводского“); паровая машина в Кронштадте, при канале Петра Великого, построена в 1777 г. См. Меньшенин, Д., О успехах горного промысла в России. СПб., 1829 г., стр. 55 — 56.

- <sup>18</sup> Зябловский, Е., Российская статистика, ч. II, СПб., 1832 г., стр. 119 — 120.
- <sup>19</sup> Глинка, С., Записки о Москве и заграничных путешествиях от исхода 1812 до половины 1815 года. СПб., 1837 г., стр. 125 — 126 (главка: „Движение гражданского и промышленного сословия“).
- <sup>20</sup> Болотов, добавим мы к характеристике П. Знаменского, говоря даже о ценных им лицах духовного звания, не забывает всегда сказать при этом: „не взирая на его породу“.
- <sup>21</sup> Напечатано в „Вестнике Географ. Общества“ 1859 г., кн. 7-я, стр. 52 — 53.
- <sup>22</sup> См. у Е. Романович-Славятинского. „Дворянство в России“. СПб., 1870 г., стр. 280 и др.
- <sup>23</sup> Лубяновский, Ф. П., Воспоминания (1777 — 1834). М., 1872 г., стр. III.
- <sup>24</sup> „Достопамятный год жизни Августа Коцебу или заточение его в Сибири и возвращение оттуда, писанное им самим,“ пер. с немецк. М., 1806 г., ч. II, стр. 165.
- <sup>25</sup> Болотов, А. Т., Памятник протекших времен или краткие исторические записки о бывших происшествиях и носившихся в народе слухах. М., 1875 г., стр. 57.
- <sup>26</sup> „Bulletin national hebdomadaire“ (без места и года печати), № 21, le 28 octobre (28 октября 1794 г.), р. 245.
- <sup>27</sup> „Северная Минерва“. Журнал, изд. Ир. Ветринским. СПб., 1832 г., ч. I, стр. 104 — 108. Письмо было доставлено в редакцию графом Д. И. Хвостовым в копии, полученной им от Потемкина в 1795 г.
- <sup>28</sup> Ковалевский, Е. г., Граф Блудов и его время. СПб., 1886 г., стр. 11.
- <sup>29</sup> „Заволжский Муравей“ Казань, 1834 г., № 2: „Замечания во время путешествия по берегу Камы и в Оренбургской губернии“, стр. 83.
- <sup>30</sup> Булгарин, Ф., Воспоминания, ч. VI, СПб., 1849 г., стр. 141 — 144.
- <sup>31</sup> „Досуги в стихах и прозе Бобрковского гражданина Константина Севостьянова“. М., 1850 г., стр. 33. Вспоминая свой „путь к словесности“, автор сообщает: „Сумароков в театре своем очищал мою нравственность; Ломоносова Грамматика и Риторика, при помощи Рижского Логика, показывали мне правила, как сознать красоту и силу словесности в стихах и прозе“.
- <sup>32</sup> Страхов, Н., Мои петербургские сумерки. СПб., 1810 г., ч. I, стр. 86 — 87.
- <sup>33</sup> „Заволжский Муравей“. Казань, 1833 г., № 14, стр. 169 — 170.